

И
Л

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Элис Уокер

Красные
петунии





Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Alice Walker

Элис Уокер

Красные петунии

Рассказы

Перевод с английского

*Составление и предисловие
М. Тугушевой*

Москва
«Известия»
1986

И (Амер)
У62

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент А. Зверев

Обложка художников Л. Бельского и В. Потапова

© 1971, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 by Alice Walker. Originally published as a book by Harcourt Brace Jovanovich

© Составление, предисловие, перевод на русский язык, оформление издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1986

Предисловие

Главный принцип своего творчества негритянка Элис Уокер определяет так: «Я не могу скрывать то, что сама жизнь мне открывает». Подобно Ральфу Эллисону, Джеймсу Болдуину, Джону Оливеру Киллензу, а также известным черным писательницам Поле Маршалл и Тони Моррисон, Элис Уокер старается говорить правду о том, что видит, хотя это дается нелегко. И потому, что сознанию и воображению писателя, даже сравнительно молодого, довлеет инерция прежних представлений, нередко устаревших и ложных. И по той причине, что жизнь в современных Соединенных Штатах чаще оборачивается к писателю-негру совсем не улыбочивой (если вспомнить летучее выражение американского писателя XIX века Уильяма Дина Хоуэллса) стороной.

Эта жизнь так сложна, контрастна, болезненна для восприятия и осмысления, что правда, которую говорит писатель, чаще всего жестока и сам он, как правило, испытывает гнев, горечь, ненависть. И упрямое желание спорить, опровергать, срывать все и всякие покровы лицемерия, а подчас — благоприличия, рассеивать иллюзии и самообманы, одним словом, говорить «нет».

Говорят «нет» своим образом жизни бунтующие, страдающие, взыскующие справедливости персонажи романов и новелл Элис Уокер: «Он назвал тебя черномазым. Мы нынче же уезжаем. Сегодня, не завтра. Иначе будет поздно»... И они уезжали. Не зная куда... к какому-нибудь новому хозяину, которого надо ублажать, но не слишком при этом роняя собственное достоинство» («Неожиданная весенняя поездка домой»).

Вспышки борьбы «за достоинство» нередко бывали и до Гражданской войны, положившей конец рабовладению в США, но после 1865 года начался новый, и очень активный, этап борьбы за гражданское и духовное выпрямление быв-

шего раба в мире, где господствующее положение по-прежнему занимали белые. Вскоре на Юге запылал крест ку-клукс-клана. Террором пытались запугать вчерашние рабовладельцы вчерашних рабов. Одновременно подновлялась и живая легенда о благостных временах «старого Юга», добрых плантаторах и счастливых невольниках. Отнюдь не последняя по времени, но самая талантливая из них — роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» (1936). Да, негры оказались «предателями», они поддались «злонамеренной» агитации Линкольна. Но есть (и останутся) негры «верные», хотя и «глупые»; это они, добровольные рабы, так сказать, рабы по зову сердца и велению совести, помогают героине романа, Скарлетт О'Хара, возрождать ее разоренную плантацию...

Ну, а как им жилось на самом деле, этим «верным», «глупым» и «предателям»-неграм, мог бы порассказать дядюшка Альберт, «чучело» которого теперь белозубо улыбается из-за витрины ресторана, куда черным вход воспрещен; впрочем, они могут сколько угодно работать на кухне. В те буколические времена Альберту было, однако, не до улыбок, тогда он взбунтовался, узнав, что «добрые» хозяева целых десять лет «забывали» сказать своим «счастливым» рабам об отмене рабства. Кстати, и улыбаться было нечем — зубы дядюшке Альберту выбили еще в детстве,— и трудно, очень трудно отыскать более ироничную и злую отповедь рабовладельческому мифу о счастливом патриархальном Юге, чем рассказ Элис Уокер «Илетия».

Борьба за «выпрямление» негра, за гражданское его равноправие шла мучительно долго. В 1952 году в романе «Невидимка» Ральф Эллисон все еще констатировал: негр в Америке — человек несуществующий, «невидимый» с точки зрения американской демократии, хотя все, что он может дать своим трудом и талантом, белая Америка видит и берет себе. Так она присвоила его замечательный фольклор — его танцы и прекрасные блюзы — и сделала на них выгодный бизнес, совсем как тот король эстрады, в котором угадывается Элвис Пресли («Тысяча девятьсот пятьдесят пятый»).

Негры не только грабили, их по-прежнему убивали, жгли их дома и церкви, бросали в их детей бомбы, а борцов за гражданское равноправие, «молодых идеалистов» без различия цвета кожи, топили в миссисипских болотах.

И в начале 60-х негры вышли «на улицу». 28 августа 1963 года 210 тысяч черных и белых американцев закончили Марш Свободы на Вашингтон у беломраморного памятника Линкольну и Мартин Лютер Кинг сказал: «В Америке не будет мира и спокойствия, пока негры не станут полноправными гражданами страны».

Негры выступили в великий поход за Свободой, чтобы наконец осуществить постулат Декларации независимости — право на «свободу, равенство и счастье» для всех, и недаром афоризмом стали слова: «Нужны башмаки, а не чернила».

Однако «чернила» по-прежнему играли в развивающихся событиях огромную роль. Снова и снова обращаются к расовой теме Эрскин Колдуэлл и Джон Стейнбек, Харпер Ли и Карсон Маккалерс — белые писатели-реалисты. В полную меру таланта заявляют о себе Болдуин и Килленз. Негритянская писательница-драматург Л. Хэнсберри, выступая в 1962 году на митинге за ликвидацию Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, утверждала, что задача современного писателя, и негра также, — понять и отобразить в своих произведениях аксиому: если человек неудачно создал мир, «то от человека зависит и пересоздать его».

Речь безвременно умершей Хэнсберри как бы намечала программу действий негритянской литературы, предсказывала рост прогрессивного социального мировидения, которым отмечены, например, произведения Маршалл, Моррисон и Уокер. Критик Барбара Кристиан имела основание сказать, что «их личный взгляд на происходящее в мире формируется действительностью и возрастает на почве общественных перемен». Даже если они изображают отношения внутри замкнутой негритянской общины, эти отношения определяются внешним миром социальной, не только расовой, вражды и борьбы с общеамериканскими буржуазными условностями.

Жизнь негра в произведениях черных писателей нередко противопоставляется собирательному образу ненавистного белого мира «вообще», и Джеймсу Болдуину, например, пришлось пройти немалый путь борьбы, сомнений и заблуждений, чтобы преодолеть этот националистический стереотип мышления в романе «Если бы Бийл-стрит могла заговорить» (1974). Здесь индивидуалистическое и национальное переходит в сферу общих интересов белых и черных американцев — в борьбу за осуществление правосудия. Эта идея общности интересов и борьбы пронизывает стихотворения Э. Уокер, ее сборник «Петунии революции».

О том же роман Элис Уокер «Полдень» (1976). Она утверждает: эгоизм, национальную замкнутость и консерватизм мышления можно преодолеть. Ее Меридиана становится активной участницей борьбы за гражданское равноправие и в борьбе за общие интересы находит исцеление от горечи личных неудач.

Романы и особенно рассказы Элис Уокер — живая история 60—70-х годов. Она с уважением пишет о «духовном подъеме» негритянского народа в 60-е годы, его «поразительной решимости» добиться гражданского социального и экономического равенства. Пик движения — Марш Свободы на Вашингтон. Затем «светлые времена» тускнеют. Убит Джон Кеннеди, пал жертвой националистических распри негритянский лидер Малькольм Икс. Скоро не станет и Мартина Лютера Кинга. Драматург Лерой Джонс пополнит ряды «Черных мусульман», наречет себя Барака и объявит крестовый поход против всего, что «покрыто белой кожей». Вспыхнет леваческий экстремизм, и Кэтлин Кливер будет позировать фотокорреспондентам с револьвером в руке. Негритянские юноши станут возвращаться из Вьетнама с навеки опаленной душой и жадной мести обокравшей их юность белой Америке, но также и с опасным знанием «как делать бомбы».

Элис Уокер пишет обо всем без утайки: о яде черного национализма и о белых шовинистах, которым не нравится, когда черные женщины не хотят рожать детей, но которые

убивают родившихся и отказывают в хлебе насущном голодающим («Месть Ханны Кемхаф»). Уокер пишет о сложностях и противоречиях антирасовой борьбы, об антифеминизме, усталости, разочарованиях, горечи поражения, которые в середине 60-х стали испытывать бывшие идеалисты, о правительстве, у которого нет денег для программы культурной и экономической помощи беднякам, но есть деньги на бомбы для Вьетнама.

Напишет Уокер и о лжепророке — «гуру». Он проповедует в межрасовой коммуне, что всякая борьба обречена на поражение и если, например, африканцы (и негры, и люди вообще) несчастны, то в этом повинны они сами, а вовсе не «условия существования», что смысл жизни — в чувственном удовлетворении естественных инстинктов и освобождении равнодушного сознания, галлюцинирующего под воздействием «дозы», от всех моральных запретов и обязательств («Источник»). В этой же новелле Уокер затрагивает традиционную тему «трагической мулатки», женщины смешанной крови, которую «отвергают» не только белые, но и черные.

Уокер говорит с гневом и ожесточением, горькой иронией и тайным сожалением об увядшем «идеализме» и вместе с тем утверждает непреложный факт: бороться необходимо. Чутко распознает она и новую опасность, например, искушение негра причастностью к белому истеблишменту.

В 70-е годы властям предержавшим пришлось пойти на уступки. Слишком серьезным и угрожающим социальному статус-кво буржуазной Америки стало недовольство, возмущение негров. Его нельзя было дискредитировать, даже умело используя негативный — идейный и «этический» — потенциал черного национализма. Протест негров питался и скорбным пафосом мученической смерти М. Л. Кинга, и угрозой «пожара», о котором так выразительно повествовали в своей художественной и публицистической прозе Болдуин и Килленз. Нельзя было пренебрегать нарастанием политической, не только расовой, оппозиции негров американской государственности, ее основополагающим

конституционным канонам.

В 1963 году Кинг у памятника Линкольну требовал осуществления демократических обещаний, данных Декларацией независимости. В своей книге «Первичные выборы Дика Грегори» (1972) известный комедийный негритянский актер, рассказав, как он баллотировался в президенты в 1964 году, не поддаваясь распространенным американским иллюзиям, анализировал Декларацию, статью за статьей, и доказывал, что обещания пусты, а идеалы — попораны.

Вот почему идея скорейшей «интеграции» негра, его конформистского умиротворения с помощью некоторых радостей потребительского образа жизни прочно поселяется в «коридорах власти».

...От этих радостей уже вкусила Имани. У нее такая образцовая семья и уютный, тихий, со вкусом обставленный дом. Ближайший друг дома — черный мэр, первый черный мэр в южном городке! (Рассказ «Аборт».) Конечно, у мэра много проблем: муниципальные фонды тощи, полицейские — сплошь расисты, белые избиратели, совсем в духе Скарлетт О'Хара, убеждены, что ни один черный не способен управлять, в частности — городским хозяйством.

Но и мэр — парень не промах. Он образцовый представитель черной буржуазии, которая страстно желает ничем не отличаться от белой. И если уж никак нельзя изменить цвет кожи, которого черная буржуазия так стыдится, то образ жизни и образ мыслей можно сделать совсем такими, как у белого «среднего класса». Мэр вполне овладел политической лицемерия и соглашательства, поэтому ему нечего делать на поминовении Холли Монро, убитой расистами, убитой просто так, от скуки, да еще потому, что беззащитность «сама провоцирует». Мэр не признает никаких протестов, никакой борьбы — кроме борьбы за собственное благополучие. И эта политика может окупиться. Белые избиратели вполне могут поддержать кандидатуру «своего», «верного» негра на выборах в Законодательное собрание штата. Таков один вид лжеинтеграции. А есть и другие модифицированные лики расизма. Расизм ведь остается, но становится утончен-

нее, изощреннее, он принимает иногда совсем неожиданные формы, например, любования прежде ненавидимой «чернотой». И вот уже белые сокурсницы негритянки Сары Дэвис восхищаются цветом ее кожи, но в этом восхищении по-прежнему нет ни грана уважения человеческой личности.

Трансформациям расизма, приманкам лжеинтеграции, новым их стереотипам тоже надо уметь противостоять, помня при этом и об опасностях чрезмерных националистических пристрастий. А это трудно и сложно: сознание художника не застраховано ни от заново создаваемых штампов, ни от старых, но обновленных шаблонов мышления. Так, например, сказались они в романе У. Стайрона «Признания Ната Тернера», где предводитель восстания виргинских негров в 1832 году изображен маньяком, терзаемым идеей сексуальной мести. Недаром такое нарушение исторической правды болезненно воспринимается героинями Э. Уокер («Источник»).

Надо сказать, что сама Элис Уокер подвластна этим шаблонам в меньшей степени, чем более известные писатели, негры и белые, ставшие классиками в 60-е годы. Однако и у нее иногда проскользнет замечание, что черные «лучше всех», или выпад против великого президента, «простертого» Авраама Линкольна, «прямого и жесткого, как церковная скамья». И вроде бы нет нужды, что «простерла» его пуля расиста. Порой и Уокер склонна думать, что главная форма расизма — сексуальное насилие («Как мне удалось убить одного из лучших адвокатов...»). Все это есть. Но главное в другом: прежде всего в понимании, что черный национализм и белый шовинизм губельны для страны, главное — в ее желании всегда говорить правду, а это действительно непросто для писателя, который живет в обществе, где «линчевание все еще остается, пусть подсознательно, средством утверждения расового превосходства», где разговоры о свободе затушевывают тот опасный факт, что страна находится «на грани ядерного конфликта», — об этом предупреждал еще Мартин Лютер Кинг. Об угрозе милитаризма пишет и Элис Уокер — например, в недавно опубликованной

книге эссе, писем и воспоминаний «В поисках садов, матерями насажденных» (1983).

Этой угрозе, розни, ненависти, безверию и бездействию, новоявленному консерватизму и неоконформистской лжеинтеграции Элис Уокер упрямо твердит свое «нет», ибо ничто не может освободить человека от причастности миру и борьбе. «Молчи — какой, в сущности, бессмысленный совет писателю», — говорит она, возвращая свои «красные петунии» гнева, надежды и веры в конечную победу.

М. Тугушева

Тысяча девятьсот пятьдесят пятый

1955

Машина новенькая, последней марки — красный «супер» с откидным верхом, — и она уже не один раз проехала мимо нашего дома. А теперь вдруг совсем замедляет ход и останавливается у обочины. На тротуар выходит пожилой джентльмен, одетый как баптистский проповедник, и совсем молодой парнишка — лет шестнадцать, больше не дашь — выходит с шоферской стороны. Оба белые. И чего им тут понадобилось, в наших местах? — думаю я.

Знаешь что, говорю я Джи Ти, надень-ка рубашку, а я убегу стаканы со стола.

Мы смотрели по телику волейбол. Я, можно сказать, и не смотрела. Просто сидела и дремала, положив ноги Джи Ти на колени.

Те двое — прямо к нашей двери, быстро так зашагали. Не иначе как хотят нам что-то всучить, подумала я, а Джи Ти не стал надевать рубашку и ушел вместо этого в спальню, где был еще один телик. В гостиной я не стала выключать, только приглушила звук: сейчас от них отделаюсь и Джи Ти вернется сюда, решила я.

Вы — Грейси Мэй Стил? — спрашивает меня пожилой, когда я открыла дверь и встала на пороге, положив руку на задвижку сетки.

Но покупать ничего не собираюсь, говорю я.

А почему вы решили, что мы что-то продаем? Он так это сказал, что у меня сердце заныло. Южанин!

Ладно, так ли, эдак ли, но они уже в комнате, и молоденький первым делом прибавляет звук в телике. Ростом он футов шести, смуглый, хоть и настоящий белый, с яркими пухлыми губами. Волосы черные, кудрявые, похож на креола из Луизианы. И на девицу малость смахивает.

Хотим поговорить с вами про одну вашу песню, говорит проповедник. Ему примерно лет под шестьдесят. Седой и борода седая, в белой шелковой рубашке и черном полотняном костюме, галстук и ботинки тоже черные. И серые глаза — холодные и слегка влажные, будто в испарине.

Про мою песню?

Трейнору очень нравятся ваши песни. Да, Трейнор? А сам подталкивает парнишку локтем. Тот моргнул и что-то буркнул — я не разобрала.

Мальчик жил в глуши, кругом простой народ, ваш народ. Научился петь и танцевать. В общем, петь-то он у вас научился.

Трейнор глядит на меня и грызет ноготь.

Я засмеялась.

Ладно, так ли, эдак ли, только отбыли они с контрактом на право записывать на пластинку одну мою песню. Проповедник выдал мне чек на пятьсот долларов, парнишка пробурчал что-то вроде того, что он, мол, будет помнить о своих обязательствах, а я хохочу, уняться не могу, а потом пошла к Джи Ти.

Только я прикорнула, как снова звонок в дверь.

Шляпу забыл? — спрашивает Джи Ти.

Лучше бы ему этого не делать, говорю я.

А у двери стоит проповедник, и опять я замечаю, какие у него глаза. Может, ему так жарко, думаю, что вспотели даже глаза и от этого покраснели. Красное с серым... Спаси меня бог от людей, которые за такими глазами кроются!

Забыл упомянуть об одной мелочи, говорит он эдак любезно. Я забыл сказать: мы с Трейнором хотели бы купить все до единой пластинки с этой вашей песней. Так она нам нравится.

Ладно, нравится, не нравится — дело ваше, только не такая уж я дура, чтоб преподнести ее вам за здорово живешь. Ладно, говорю, но за это полагается отдельная плата. На самом-то деле я даже обрадовалась — песня эта больших доходов мне не приносила, пускай, думаю, скупают. А с другой стороны, это что же получается? Выходит, только они

двое и будут слушать мою песню и никто больше никогда не услышит, как я ее пою? Я все же призадумалась.

Но тут проповедник дает мне понять, что значит вести с ним дела.

Кажется, я уплатил вам пятьсот долларов? Или, может быть, я ошибаюсь? — спрашивает он. Кто же это из белых — а о черных и говорить нечего — даст вам больше? Так вот, мы скупаем все ваши записи этой песни, и вы сразу же начинаете получать с нее проценты. Позвольте спросить: сколько вы получили за первую запись? Пятьдесят долларов? Сто, говорю я. И никаких процентов с тех пор? Я не ошибся? Мы скупаем ваши записи, но зато вам начинают поступать отчисления. Ну ясное дело, в магазинах кое-что замечают и начинают шевелить мозгами: видно, эта Грейси Мэй чего-то стоит. Запускают в продажу другие ваши записи. И вот уже ваше имя среди самых знаменитых певиц. И за разрешение сделать все это для вас мы предлагаем вам еще пятьсот долларов. Жизнь у вас начнется райская, можете мне поверить. Купите себе такое платье для эстрады — кинозвезде не снилось: красный атлас, все блестит и переливается.

Сетку я отомкнула — отчего бы и нет, если можно с него получить еще денег. И растворила дверь пошире, чтобы он мимо меня протиснулся. Вытащил он другой листок, и я его тоже подписала. Потом рысцой припустил к машине, сел рядом с Трейнором, тот ждал его, положив голову на спинку сиденья. Они круто развернулись перед самым нашим домом и уехали.

Когда я вошла в спальню, Джи Ти натягивал рубашку. «Янки» выиграли у «Ореола», 10:6, сказал он. Скатаю-ка я теперь порыбачить на Паскалевский пруд. Хочешь со мной?

Пока я влезала в брюки и прочее, Джи Ти все вертел перед носом эти два чека.

С ума сойти, говорит, вот это женщина! Делает деньги, не выходя из дома. А я только хмыкнула в ответ, потому что познакомились мы с ним, можно сказать, на улице —

я в ту пору пела в разных забегаловках, то в одной, то в другой, и, если повезет, приносила десять долларов, а иной раз и ничего, только радовалась, что живой добралась до дому. Хотя Джи Ти любил вспоминать те времена. Какая я тогда была красивая да быстрая, и как мы все куда-то спешили, куда-то ехали, то в один городишко, то в другой. И очень ему нравилось, как чумазные фермеры плакали от моих песен, точно малые дети, а женщины кричали: тише, милый! Так уж люди устроены: приучи их к своему стилю — и они с ума сходят.

1956

Как-то вечером звонит мне мой внучок и говорит: бабуль, бабуль, там какой-то белый поет твою песню! Включи пятую программу.

Ну ясно — Трейнор! Все такой же полусонный от груди и выше, а от пояса и ниже вроде бы проснулся — крутится и дергается, и довольно отвратно. Песню мою он вроде бы и неплохо спел, вот только дерганьем чуток подпортил — от такого дерганья люди не станут вскрикивать и рыдать.

Боже милостивый, говорю. Если закрыть глаза, можно подумать, это я пою. Он прямо-таки в точности следовал за моим голосом — боковые улочки и авеню, вот красный свет, вот железнодорожный переезд, поворот, еще поворот. Мне даже как-то не по себе стало.

Теперь Трейнор день и ночь всюду пел мою песню, и белые девчонки от нее прямо балдели. Никогда в жизни перед моими глазами не моталось столько «конских хвостов»! А уж восторгов-то. Гений!

Ну да ладно, в тот год я была очень уж занята — худела. Давление, вес, сахар — хлопот полон рот. Трейнору здорово повезло с моей песней — на золотую жилу попал, и от капитала в тысячу долларов на моем счете в банке оставалось еще семьсот. Сбросить только бы вес, и жизнь будет прекрасна.

1957

В 1956-м я сбросила десять фунтов. Сделала себе подарок к рождеству. Джи Ти, я, дети, их друзья и весь комплект внучат только что кончили обедать — на обеде этом я, кстати, снова набрала девять с половиной фунтов из тех десяти, что сбросила,— и тут вдруг у парадной двери появляется, как бы вы думали, кто? Трейнор. Бабуль, бабуль! Там тот белый, что поет... Дети уже не называли ее «моей песней». Да и никто не называл. Забавно все получилось. Трейнор с проповедником и правда скупили все мои записи, но на своей пластинке он поставил: «Написана Грейси Мэй Стил». Только это чепуха — лишнее имя на наклейке, все равно как если бы стояло: «Производство Апекс Рекордс».

На ТВ он, видно, одевался так, как его учил проповедник, но сейчас одет был прилично.

Счастливого рождества, говорит.

И тебе того же, сынок.

Не знаю, почему я ему так сказала: сынок. А впрочем, все ведь они — наши сыновья. Те, что молодые. Но Трейнор вроде бы за это время успел и в возраст войти.

Что-то у тебя усталый вид, говорю ему. Садись к столу, выпей с нами в честь рождества.

Джи Ти с белыми сроду себя прилично не вел, разве только с теми, у кого работал, но Трейнору он налил пшеничной водки, а потом увел всех детей, внуков, друзей — и кого там еще? — в другую комнату. Чуть погодя слышу голос Трейнора из стерео. Мою песню поет. Видно, ребяташки надумали сделать мне такой рождественский подарок.

Я покосилась на Трейнора, но по его виду никак нельзя было сказать, что ему это приятно. Подался вперед, локти упер в колени, в руках стакан.

Я эту песню за последний год, небось, миллион раз спел, говорит. Пел на сцене Гранд Опера в программе Эда Салливана. У Майка Дугласа. На фестивалях. На ярмарках. В Риме, а раз так даже на подводной лодке — под водой. Пел, пел, пел — на сорок тысяч долларов в день, и знаешь, что я тебе

скажу,— я понятия не имею, о чем она, эта песня.

Как это о чем? О том, о чем она есть. Вот прохиндей! Заколачивает на моей песне по сорок тысяч долларов за день, а теперь явился, чтобы отнять у меня мою единственную тысячу,— вот что мне в голову пришло.

Песня как песня, говорю. Непростая песня. Если ты не одного любила, про всех сразу и поешь. Я пожалала плечами.

А-а, говорит он. Ясно. Лицо у него немного посветлело. Я пришел тебе сказать, говорит, что ты — великая певица. Такое мое мнение.

Сказал и даже не покраснел. Так прямо и выложил.

Хочу сделать тебе небольшой подарок к рождеству, говорит. Вот, держи эту коробочку и не открывай, пока я не уеду. А потом пройди немного по улице, до зеленого дома. Там, под фонарем, открой коробочку... В общем, сама увидишь.

Чего это нашло на парня, подумала я, но взяла у него коробочку. Глянула в окно, вижу, к нему другой белый подошел, сел с ним вместе в машину, они тронулись, а следом еще две машины, тоже с белыми. Машины длинные черные, на похоронную процессию смахивает.

Бабуль, это чего? Внучонок тянул у меня из рук коробочку. А она в рождественской обертке — бумага дорогая. И ведь делают такую, чтобы тут же и выкинуть. Надо же!

Джи Ти и вся орава отправились со мной на улицу, прошагали мы до фонаря перед зеленым домом. А там ничего, только чей-то белый «кадиллак» с золотой решеткой радиатора. Новехонький и до того красивый — обалдеть можно! Мы все на него уставились, я чуть не позабыла про коробочку-то. Ну, значит, тарашатся все мои на «кадиллак», от восторга замерли, а я потихоньку сняла бумагу и ленту, свернула их — и в карман. Потом раскрываю коробочку, а там — как вы думаете — что? Два ключа из чистого золота от «кадиллака»!

Я позвякала ими у ребятишек под носами, потом отперла «кадиллак», поманила Джи Ти, чтобы он сел со мной рядом, и только нас и видели — два дня катались.

1960

Теперь он был знаменитостью номер один. Совсем молоденький парнишка, но его уже величали Королем рок-н-ролла. И тут на тебе — призывают в армию!

Ну вот, говорит Джи Ти. Закрылась лавочка — ни Короля рока, ни доходов.

Да только и в армии девицы слетались на него как мухи на мед. Мы по телику видели.

Дорогая Грейси Мэй (писал он мне из Германии).

Как поживаешь? Надеюсь, неплохо, поскольку сам я тут в полном порядке. Перед армией я вышел в большие знаменитости, и совсем меня задержали на всяких идиотских киносьемках. А тут я все время двигаюсь, ем вовремя и много отдыхаю. И такой, знаешь, бодрый стал — лет уж десять так хорошо себя не чувствовал.

Интересно бы мне узнать, не написала ли ты случаем еще каких-нибудь песен?

Твой Трейнор

Я ему ответила:

Сынок,

милостью божьей у нас все благополучно, надеюсь, и у тебя тоже. Мы с Джи Ти только и делаем с утра до ночи, что катаемся на той машине, что ты мне подарил, только зря ты это. И само собой, я в восторге от норковой шубы и от духовки, которая сама себя чистит. Только я тебя умоляю, не посылай нам больше ничего съестного из Германии, а то нам придется открыть где-то по соседству лавочку, чтобы сбывать всю эту снедь. Честное слово, у нас и так всего довольно. Господь к нам милостив, и мы не знаем нужды.

Рада за тебя, что у тебя все хорошо и ты можешь отдохнуть. И что много двигаешься, это очень полезно. Мы с Джи Ти, если не едем на рыбалку, всегда работаем в садике.

До скорой встречи, солдат.

Твоя Грейси Мэй

В ответ он написал:

Дорогая Грейси Мэй,
надеюсь, вам с Джи Ти понравился механический культиватор, который я заказал для вас в Штатах. Покуда искал, чего бы такое купить, чтобы и женщине было сподручно, перерыл гору каталогов.

Все хочу сам сочинить песню, пробовал, только каждый раз получается вроде бы это не про меня, вроде бы такого со мной и не было. Мои импресарио присылают мне много разных песен, но все они какие-то нудные. Поешь, и тоска забуряет.

А по твоей песне до сих пор все сходят с ума. И меня часто спрашивают: про что же все-таки в ней говорится? Только я и сам хотел бы это знать. Что в твоей жизни навело тебя на эту песню?

Твой Трейнор

1968

Семь лет я его не видела. Нет, восемь. Ну да, свиделись мы с ним опять, когда никого уже в живых не было: ни Малькольма Икса, ни Кинга, ни президента, ни его брата, даже Джи Ти и тот умер — голову застудил. Будто кусок льда у него там засел, говорил он, и ни с места, а потом вдруг как-то утром вытянулся мой Джи Ти во весь рост в постели и помер.

С похоронами мне помог его хороший друг Хорас, а спустя год мы с ним стали жить вместе. Как-то летом под вечер — уже смеркалось — сидим мы с Хорасом на парадном крыльце и вижу я, подплывает целая вереница огней.

Господи помилуй, говорит Хорас. (Голос у него как у Рея Чарльза — скажет слово, сердце так и обомрет.) Ты только глянь! Машины уж до того шикарные и, вижу, останавливаются одна за другой, с шоферских мест выскакивают белые парни в белых летних костюмах и почтительно так застывают. Им бы крылья — сошли бы за ангелов, а в балахонах — за куклуксклановцев.

К крыльцу вразвалочку подходит Трейнор.

И тут я точно сообразила, на кого он похож. На араба из детских книжек! Круглый, пухлый, и, видно, плевать ему на свой вес. А чего ему заботиться о фигуре, если денег — куры не клюют! И одет как араб. Право слово, с десятков ожерелий на шее. Браслеты на обеих руках, на пальцах уж самое меньшее по одному кольцу, а на башмаках блестящие прижки — идет, а они посверкивают.

Похлопал меня по плечу, привет, Грейси Мэй, говорит, привет, Джи Ти. Я ему объясняю, что Джи Ти уже нет в живых. А это — Хорас.

Хорас, повторил он вежливо, хотя и удивился, даже чуть качнулся назад на каблуках. Хорас.

А для Хораса и того довольно. Пошел в дом и больше не выходит.

Похоже, мы с тобой оба не в убытке, говорю я Трейнору.

Он засмеялся. Я его смех впервые услышала. Вроде бы и на смех-то не похоже, но уж лучше так, чем вообще не смеяться.

Растолстел он здорово, хотя рядом со мной сошел бы и за худенького. Я-то до своих прежних трехсот фунтов так и не сбросила вес да и вообще на это дело плюнула. Подумала-подумала и вот что надумала: ну ладно, для здоровья, говорят, вредно, а так-то чем мне мешает моя толщина? Мужчинам я всегда нравилась. Дети тоже на мои габариты не жалуются. Они и сами все толстые. Да и то сказать, толстый человек, он и выглядит как-то солиднее. Сразу видно, важная персона.

Грейси Мэй, говорит Трейнор, я приехал, чтобы лично пригласить тебя завтра к себе в гости на обед. И засмеялся. Чудно как-то засмеялся. А как — и не объяснишь. Видишь вот тех подонков, спрашивает. Осточертело мне с ними обедать. Не о чем словом перемолвиться. Наверно, потому и столько и ем. Хоть поговорим с тобой завтра про минувшие денечки. Расскажешь мне про ферму, что я тебе подарил.

Я ее продала, говорю.

Продала?

Да, говорю, продала. В садике я люблю копать, это верно, но на кой черт мне пятьсот акров земли? И вообще я теперь городская. Выросла в деревне, это так. Грязь, бедность, жуть беспросветная, только все это теперь позади.

Да что ты, говорит он, я вовсе не хотел тебя обидеть.

Посидели мы с ним, помолчали, послушали сверчков.

А потом он спрашивает: ты ту песню еще в деревне сочинила? Или вскоре после отъезда?

Шпиона, что ли, ты по моему следу пустил? — спрашиваю я его.

Вы с Бесси Смит когда-то здорово из-за нее поцапались, говорит.

Значит, все-таки шпионил!

Только вот не знаю, в чем именно было дело, говорит он. А еще не знаю, что случилось с твоим вторым мужем. Первый кончил жизнь на электрическом стуле в Техасе. Известно это тебе? Третий твой муж бил тебя смертным боем, украл твои концертные платья и машину и укатил с какой-то хористочкой в Таскиджи. Трейнор засмеялся. Он и по сю пору там.

Я вся кипела от злости, а потом вдруг успокоилась. Трейнор говорил будто во сне. На улице уже совсем стемнело, но я точно знала: глаза у него какие-то странные. Что-то там затаилось, и это «что-то» говорило со мной, а к нему как будто и не имело отношения.

Ты решила, что не выйдешь больше замуж, и тогда твоя жизнь наладилась. Он опять засмеялся. Я женился, но все получается не так. Никак не могу ни свою жизнь к семейной подладить, ни семейную к своей. Все равно что петь чужую песню. Я все делал как положено, но так и не могу уразуметь, что это такое — супружеская жизнь.

Купил ей кольцо — бриллиантище что твой кулак. Платьев накупил, барахла разного. Особняк построил. А она не хочет, чтобы там были мои ребята. Говорит: прокурили весь нижний этаж. Да ведь в нем пять этажей, черт побери!

А чего тебе печалиться, говорю я. Не печалься. Других, что ли, мало?

Он встрепенулся. И про это тоже есть в твоей песне, да? Не печалься. Что бы ни случилось, все еще впереди.

Я так не думала, когда сочиняла ту песню, говорю. Тогда все обернулось обманом. Знаешь, в чем вся хитрость? Чтобы прожить подольше. С годами все обманы, что случались прежде, чему-нибудь тебя научат. Если бы мне сейчас пришлось снова исполнять ту песню, я знаешь как спела бы ее — сердце разорвалось бы на части! Потому что я уже столько прожила, что теперь знаю: все это правда. Те слова мне очень помогли.

Да я ведь не так долго еще и прожил, сказал он.

Вроде бы ты на правильном пути, говорю я. Не знаю почему, но мне казалось, что паренька надо подбодрить. Вот всегда так: стоит заговорить с богатым белым, и кончается тем, что ты же его и утешаешь! Но этот парень мне правда пришелся по душе, сначала нет, а потом приглянулся он мне. Уж я бы сумела утешить его, окажись я ночью в его постели! Верно ведь, мало в том хорошего — стать мировой знаменитостью благодаря чему-то, чего ты даже не можешь понять. Когда-то я хотела втолковать это Бесси. Ведь она позарилась на ту же песню. Услыхала, как я ее репетирую, уперла руки в боки и говорит: Грейси Мэй, сегодня я спою твою песню. Она мне нравится.

Да чтоб у тебя губы раздуло, чтоб язык во рту не повернулся! — говорю я. Она была злая и сильная, но здорово я ее расчихвостила.

Мало, что ли, тебе своей славы? — говорю. А мою оставь мне. Потом она мне за это спасибо сказала. Но в ту пору она была известная всему свету Мисс Бесси Смит, а я никому не ведомая Грейси Мэй из Нотасулги.

Назавтра все те лимузины прикатили за мной. Пять машин и двадцать телохранителей. А Хорас как раз в то утро начал красить нашу кухню.

Не крась ты эту кухню, дуралей, сказала я. Парень-то, видно, совсем спятил. Зовет меня посмотреть на свой дворец — не иначе хочет подарить нам с тобой новый дом.

А что ты будешь делать с этим домом? — спросил меня Хорас, а сам засучил рукава рубашки и стоит размешивает краску.

Да продам. Отдам детям. Буду приезжать на уик-энды. Что захочу, то и сделаю. Ему-то какая разница?

Хорас стоял и качал головой. Выглядишь ты, мамуля, просто блеск! — говорит. Разбуди меня, когда вернешься.

Вот дурень, говорю, а сама поправляю парик перед зеркалом.

Ничего себе домик у мальчика! Сперва поднялись на гору, а там дорога, длинная-длинная, обсаженная магнолиями. Да разве в горах растут магнолии, дивилась я. А по сторонам-то и озера, и пруды, там олень промелькнул, тут пасутся овечки. Я так поняла, что олень и овечки — это вроде как Англия или Уэльс. Одним словом, Европа. И всю дорогу так. Красиво! Правда, парень, что вел машину, ни на что и не глядел, кроме как на дорогу. Болван. Ехали мы, ехали, потом дорога опять в гору пошла. И опять начались магнолии, только не такие пышные, как внизу. На горе-то холодно-вато, а холод они, видать, не любят. И тут мы увидели дом. Если бы ему название дать, то не иначе как «Отель Тара», в честь «Унесенных ветром». Колонны, лестница, перед входом красивые фонари и висячие цепи. Висячие цепи! А на лестнице мой знакомец в блестящем темно-зеленом пиджаке — в таких по телику в ночных шоу выступают, — похож на разжиревшее чудище; за спиной у него дворец, а под боком этакое белое видение, малютка-красотка, которую он представляет мне как свою жену.

Знакомит нас, а сам, чувствую, нервничает. Это Грейси Мэй Стил, говорит. Я хочу, чтобы ты все обо мне знала. Понимаешь... А она на него такой взгляд метнула — прямо испепелила.

Прошу вас, входите, Грейси Мэй, говорит, и только я ее и видела.

Он совсем растерялся, не знает, что говорить, что делать; надумал повести меня на кухню. Прошли мы через прихо-

жую, гостиную, комнату для утренних завтраков, через столовую, по коридору для слуг и в конце концов попали на кухню. Первое, что мне бросилось в глаза,— это пять плит. Похоже, он хотел меня представить одной из них.

Погоди-ка, говорю. Кухнями я не интересуюсь. Посидим лучше на крылечке.

Отправились мы в обратное путешествие, а на крыльце уселись в кресла-качалки и прокачались до самого обеда.

Грейси Мэй, говорит он за обедом и берет кусок жареного цыпленка с блюда, которое держит женщина у него за спиной, я тебе приготовил небольшой подарок.

Дом. Угадала? — спрашиваю я, подцепляя вилкой гарнир.

А ты избаловалась, говорит Трейнор. Очень смешно он произнес это слово — половину букв будто раздавил. Точно язык у него стал такой большой, что еле помещается во рту. С цыпленком он разделался в одну минуту, теперь занялся свиной отбивной. Я и правда избаловалась, подумала я.

У меня ведь есть дом. И Хорас в эту самую минуту красит в нем кухню. Я сама купила этот дом. И моим детям в нем хорошо.

Но тот, что я тебе купил, почти такой же, как мой. Разве что чуть поменьше.

Не нужен мне дом. Да и кто в нем будет убирать?

Он посмотрел на меня с удивлением.

До чего же туго до некоторых людей доходят самые простые вещи, подумала я.

Мне это и невдомек, говорит. Хотя какого черта, я тебе кого-нибудь туда поселю.

А я не хочу чужих. Они мне действуют на нервы.

Действуют на нервы?

Да. Не хочу проснуться поутру, а в доме какие-то люди, которых я даже не знаю.

Он сидит против меня за столом и смотрит. Об этом ведь тоже есть в песне, да? — спрашивает. Хоть и не сказано словами. Не хочу проснуться поутру, а в доме — чужие люди.

А у меня тут их целая орава, чужих, включая жену.

Хотя чего бы и не проснуться, когда на столе такая вкуснота, говорю я. У тебя тут волшебник пекарь — такого кукурузного хлеба я сроду не едала.

Он пристально на меня поглядел. И засмеялся. Только тут же оборвал смех.

Всем нужно то, что у тебя есть, а не ты сам, говорит. Всем нужно то, чем ты владеешь, да только это — не мое. Когда я пою, все прямо с ума сходят. Что-то чувствуют, а распознать, в чем секрет, не могут. Носятся по следу, точно свора гончих.

Это ты про своих обожательниц говоришь?

Про них самых.

Ты о них больно не тревожься. Они кукареканыя от мычания не отличат. Сомневаюсь, чтобы среди них хоть одна понимающая нашлась.

О том я и толкую. О том самом! — Он стукнул кулаком по столу. А стол до того массивный, даже не дрогнул. Хочу, чтобы публика была настоящая! На кой черт мне эти девки — под ноги стелются.

Знаешь, говорю, в моей жизни когда-то тоже так было, хотя такая слава мне и не снилась. Только начни я петь чужую песню, — тут бы мне и конец.

Видно, он нажал под столешницей кнопку звонка — перед нами вдруг вырос один из его холуев, словно призрак вышел из воздуха.

Дай мне Джонни Карсона, говорит Трейнор.

К телефону? — спрашивает призрак.

А то как же? С крыльца, что ли, его приведешь? Пошевеливайся, ну!

Через две недели мы поехали в концертный зал Джонни Карсона.

Трейнор, видать, затянулся в корсет — чуть полноват, но выглядит шикарно. Психопатки, что помешались на нем и на моей песне, вопят что есть мочи. Трейнор говорит: леди, которая написала самую первую, самую знаменитую

мою песню, сегодня с нами, здесь, и она согласилась спеть для нас эту песню так, как пела ее сорок пять лет назад. Леди и джентльмены, перед вами великая певица Грейси Мэй Стил!

Уж как я старалась сбросить пару фунтов к этому событию, да только зря, ничего не получилось, и тогда я сшила себе большущий балахон. Подкатываюсь я таким шаром к Трейнору, а тот возле меня вроде бы превратился в карлика и когда протянул руку, чтобы обнять меня, в зале поднялся смех.

Вижу, он разозлился. А я улыбаюсь. Надо же, двадцать лет вопят, а чего вопят-то? Ведь песня начинается, это же чувствовать надо.

Ничего, сынок, говорю. Ты за меня не беспокойся.

Я запела. Песня хорошо зазвучала. Чтобы хорошо петь, вовсе не обязательно иметь хороший голос. Хотя голос, конечно, не мешает. Только если ты посещаешь баптистскую молельню, как посещала я, ты с детства уразумеешь, что тот, кто поет,— певец. А те, что ждут ангажементов, программ и рекомендательных писем,— просто хорошие голоса, помещенные в чье-то тело.

Ну вот, пою я, значит, свою песню, как когда-то ее пела. Отдаюсь ей вся без остатка и наслаждаюсь каждым мгновением. Допела. Трейнор стоит и аплодирует, а сперва поклонился мне и залу, словно я и вправду его мать. Зал вежливо похлопал — секунды две, не больше.

Вижу, Трейнора передернуло.

Подходит он ко мне и опять хочет меня обнять. Зал смеется.

Джонни Карсон смотрит на нас с опаской, верно, думает, мы оба спятили.

А Трейнор в бешенстве. По программе он должен был спеть какую-то балладу о любви. Но вместо этого он берет микрофон и говорит, обращаясь ко мне: «А теперь проверим, точно ли я тебе подражаю или что забыл». И начинает петь ту же песню, нашу песню — теперь я так считаю, и глядит в зал. Поет он, как всегда ее поет: мой голос, моя тональ-

ность, мои модуляции — все мое. Только пару строк позабыл. Он еще не кончил, а припадочные завопили.

Садится он подле меня, и вид у него побитый.

Ерунда, сынок, говорю я и глажу его по руке. Ты ведь этих людей даже не знаешь. Ты тех, что знаешь, постарайся сделать счастливыми.

И про это тоже есть в песне? — спрашивает он.

Может, и есть, говорю.

1977

Год-другой он еще давал о себе знать, а потом исчез. В ту пору я всерьез взялась за свой вес, мне было не до Трейнора. Можно сказать, я наконец взглянула правде в глаза. Больше это терпеть невозможно, решила я, чуть ли не с самого дня рождения я стараюсь себя обмануть. Да и, честно говоря, когда старость всерьез подступает, мало приятности от таких телес. Тяжелеешь все больше и больше, и тебя словно в разные стороны развозит. Фу! И тут я твердо заявила Хорасу, что хочу сбросить с себя всю эту дрянь.

Хорас составил мне программу — он человек обстоятельный, и — господи ты боже мой! — началось: салат, творог, фруктовый сок, салат, творог, сок.

Как-то ночью мне приснилось, что Трейнор разошелся со своей пятнадцатой женой. Знакомишься с ними, говорил он мне, назначаешь свидания, женишься, а зачем — непонятно. Я все это делаю, но, может, это и не я, а кто другой? Сдается мне, что я и не жил вовсе...

Что-то с ним неладно, говорю я Хорасу.

Ты это не первый раз говоришь, отвечает он.

Разве?

Ты не раз примечала: он, мол, вроде полуспит. Только ведь нельзя проспать всю жизнь, если хочешь жить.

А ты, оказывается, не дурак, сказала я Хорасу, встала — теперь приходилось опираться на трость — и поковыляла к нему. Дай-ка мне посидеть у тебя на коленях, говорю, что-то я от этого салата совсем ослабела.

В то самое утро нам сообщили, что Трейнор умер. Кто говорил — от толщины, кто — от сердца, кто — от пьянства, а кто — от наркотиков. Позвонила одна из наших внучек из Детройта.

Эти идиотки, говорит, сейчас все сами поумирают. Включите телек.

Но мне не хотелось на них смотреть. Плачут, плачут, а чего плачут — сами не знают. И что это творится с нашей страной, подумала я, беда, да и только.

**Как мне удалось убить
одного из лучших адвокатов в штате
и выйти сухой из воды?
Да очень просто.**

Мои родители не были женаты. Я ни разу в жизни не видела отца. Впрочем, мать его, наверное, любила: она никогда не жаловалась на него. Он как бы просто не существовал. Мы жили в Птичьем переулке. Почему он так назывался — не знаю. Думаю, там раньше была птицефабрика. Это недалеко от центра. До Капитолия* меньше десяти минут ходьбы. Я видела его купол — он был золотой — прямо из нашего дворика перед домом. Когда я была совсем маленькой, я думала, что этот купол из настоящего золота — он так сильно блестел, — а позже городские власти водрузили на его верхушке орла, но, гуляя возле Капитолия, я не видела с земли верхушку, она находилась слишком высоко, и я смотрела не вверх, а вниз, на траву, и гладила ее, протягивая вперед руки. Трава была как пушистый ковер — упругая, шелковистая и высокая. А кроме того, там росли большие старые деревья. Дубы и магнолии; я восхищалась красотой магнолий и один раз вечером даже влезла на дерево, сорвала цветок и отнесла домой. Но он увял в атмосфере нашего дома: как только я внесла его в комнату, стал коричневым и лепестки осыпались.

Мать работала по найму. Ей нравилось так говорить, ей казалось, это звучит солидней. «Я работаю по найму», — говорила она и думала, что это более солидно, чем если бы она сказала: «Я прислуга».

Иногда она выколачивала до шести долларов в день, работая по найму у двух хозяек сразу. Но обычно получала

* Имеется в виду здание Законодательной ассамблеи штата. (Здесь и далее — примечания переводчиков.)

меньше. Заплатит за квартиру, купит бананов, молока, и в кармане пусто.

Случалось, я сидела дома одна — меня не на кого было оставить, временами за мной присматривала старуха соседка, но потом она умерла... а я привыкла к ней больше, чем к маме. Мама такая усталая возвращалась по вечерам, мне и поговорить-то с ней не удавалось. А иногда вернется и сразу уйдет, и домой мужчин она водила, только никто из них не собирался на ней жениться. Мне кажется, по большей части эти ее мужчины были, как мой папаша: где-то на стороне имели брошенных детей. Своих бросили и ходят к моей маме, а она им не отказывает. Ей, наверно, и аборт приходится делать, как всякой женщине, которая не в состоянии прокормить лишний рот. Но все-таки она старалась.

Конечно, она была нервная. Помнится, иногда у нее бывали какие-то припадки, наверно, из-за того, что она так шматывалась. Но я тогда еще ничего не понимала насчет переутомления, забот и истощения на почве плохого питания; я считала, она ходит на работу, просто чтобы дома не сидеть. Я ее не осуждала. Там, где мы жили, люди могли выбросить ненужный стул или стол прямо с балкона прохожим на голову. Везде валялись осколки стекла, какие-то тряпки. Вонь ужасная, в особенности летом. И дети все время ревут, и мужчины ругаются, и женщины орут не своим голосом... Там в любой момент могли изнасиловать женщину или девочку. Меня, например, изнасиловали, когда мне было двенадцать лет, а мама так и не узнала, потому что я никому об этом не рассказала. Зачем рассказывать, разве поможет кто? Один парень изнасиловал, просто так. Чей-то двоюродный брат с Севера.

Один раз, когда мама пошла «работать по найму», она взяла меня с собой. Мне показалось, я попала в волшебную страну. Вся мебель новая, нигде ни пятнышка, а мама даже и не начинала убирать. Я разговаривала с хозяйкой дома и играла с ее детьми. Хозяина я не видела, но он был где-то в доме, когда я играла во дворе с их детьми. Мне исполнилось четырнадцать, но, должно быть, я выглядела как взрослая.

А может, и видно было, что мне четырнадцать лет. Во всяком случае на следующий день, когда я шла из школы, он усадил меня в свою машину и сказал, что это мама просила меня привезти. Я села к нему в машину... и он отвез меня в свою контору, в большую адвокатскую контору в центре города, и стал расспрашивать, мол, «как живет ваша семья?», и «в каком ты учишься классе?», и так далее, в том же роде. А потом стал гладить меня рукой, и я отодвинулась. Но он продолжал ко мне лезть, а я его боялась, и... он меня изнасиловал. Правда, потом сказал, что это не было насилием, что я к нему что-то такое ощущала, и дал мне денег. Я плакала, когда спускалась с лестницы. Мне хотелось его убить.

Мама я ничего не рассказала. Думала, на том все и кончится. Но дня два спустя он опять подкараулил меня по дороге из школы, и я снова села к нему в автомобиль. На сей раз он повез меня к себе домой; там никого не было, все куда-то ушли. Он велел мне лечь в постель его жены. Так прошло примерно три недели, а потом он сказал мне, что любит меня. Я его не любила, но теперь он уже не казался мне таким противным. Думаю, это, наверно, потому, что он был очень чистый. Постоянно мылся в ванной, так что от него ничем не пахло... по правде говоря, вообще человеком не пахло. А может, я к нему переменялась оттого, что он давал мне деньги и покупал подарки. Я сказала маме, что нашла работу: сижу после уроков с маленьким ребенком. И она обрадовалась, что теперь я могу покупать себе все нужное для школьницы. А деньги давал он.

Так прошло два года. Он мне обещал, что я не забеременею, и я в самом деле не попадалась. Я лежала в постели его жены и решала задачки по алгебре или думала, что бы мне еще купить. Но однажды он отвез меня домой, когда мама уже возвратилась, и она увидела, как я выхожу из машины. Он отъехал, а я сказала себе: ну, держись.

Мама спросила: разве я не знаю, что это белый человек? Не знаю, что он женат и у него двое детей? Я что, совсем уж дура? И знаете, что я сказала ей в ответ? Я сказала,

что он меня любит. Мама начала меня упрощать, причитывать. Соседи слышали, как обе мы кричим и плачем: ведь мама чуть не до смерти отхлестала меня шнуром от электрического утюга. Утюг стоял на гладильной доске, и она недолго думая оторвала шнур и колотила меня, пока у нее рука не перестала подниматься. А потом у нее начался припадок, она корчилась в судорогах, покрылась испариной и царапала пол, словно хотела вырыть в нем для себя норку и туда забиться. Этого я испугалась больше, чем побоев. Позже, вечером, она мне рассказала одну вещь, на которую раньше не обратила внимания. Она сказала: «Кроме всего прочего, отец этого человека каждый вечер выступает по телику и говорит, что мы все вообще не люди». Это его папаша, стоя на пороге школы, заявил: в школу для белых дети чернокожих войдут только через мой труп.

И вы думаете, это на меня подействовало? Ничуть. Я глядела, как беснуется по телику его папаша и разоряется насчет того, что, мол, уравнение негров в правах — это заговор коммунистов, а сама думала: до чего же не похож на своего родителя его сыночек Бубба! Понятно вам, о чем я говорю? Я думала, он меня любит. Дело немаловажное в моих глазах. Что я там понимала об «уравнивании в правах»? Так ли уж беспокоила меня «интеграция»? Мне было шестнадцать лет! Мне хотелось, чтобы кто-то говорил мне, что я красивая, а Бубба мне все время это говорил. Мне даже казалось, это большая смелость с его стороны — крутить со мной роман. История? Да что я знала об истории?

Маму я возненавидела. Мы все время ссорились из-за Буббы, ссорились несколько месяцев подряд. Но я все же удирала на свидания — мама ведь ходила на работу. Я ему рассказала, что она бьет меня, а его презирает — он почувствовал себя как оплеванный: какая-то негритянка его презирает, — рассказала и о том, какие у нее бывают припадки... И в тот день, когда мне исполнилось семнадцать, в самый день моего семнадцатилетия, я подписала у него в конторе бумаги, и мою мать отправили в психиатрическую больницу.

После того, как мама просидела три месяца в картахенской психиатрической больнице, она каким-то образом ухитрилась раздобыть себе адвоката. Лысый такой старикан, он все время курил большие-пребольшие черные сигары. Над ним все смеялись, потому что у него даже не было своей конторы, но он единственный из адвокатов рискнул взяться за это дело, ведь папаша Буббы был такая важная персона. И мы все собрались в кабинете у судьи, поскольку тот не намеревался предавать эту историю гласности. Представьте, что бы тогда началось? И старичок, адвокат моей мамы, рассказал судье, как папаша Буббы пытался его подкупить. А потом встал Бубба и поклялся, что даже близко ко мне не подходил. А после этого встала я и сказала, что моя мама сумасшедшая. И ведь знаете что? К этому времени действительно так было. Моя мама сошла с ума. Она ничего не соображала. Лечение шоком или как оно зовется... Одному богу известно, чего они ей только не давали. Сидит сгорбившись, волосы седенькие, а лицо совсем без выражения.

И вот после всего этого Бубба мне заявляет, что у нас, мол, все пойдет как прежде. Мама была просто препятствием, которое ему пришлось устранить. Но вот тут-то я — как это вышло, честно говоря, сама не понимаю — внезапно вроде бы проснулась. Ну, как будто все, что было до тех пор, в каком-то сне, что ли, происходило. Я ему одно только сказала: хочу, чтобы выпустили маму. Но он меня не послушался; гнул и дальше свою линию — чтобы мы продолжали встречаться. И бывало — по привычке, думаю, — я ходила к нему. Мое тело выполняло то, за что ему платили. А мама умерла. И я убила Буббу.

Как мне удалось убить одного из лучших адвокатов в штате и выйти сухой из воды? Да очень просто. У него в конторе в ящике стола был револьвер, и как-то вечером я его вынула и застрелила Буббу. Когда я в него стреляла, на нем было толстое зимнее пальто, так что я даже не видела крови. Правда, мне кажется, я не успела стереть отпечатки пальцев — говоря по правде, я там и минутки не смогла пробыть. Полиция ко мне не явилась, а на следующий день

и прочла в газете, что его застрелили грабители. Я думаю, они решили, что «грабители» утащили все деньги, которые Бубба держал в сейфе... а на самом деле их забрала я. Бубба часто говорил, что собирается послать меня в колледж, я клевала на эту приманку и не могла понять: а почему бы ему и в самом деле меня туда не отправить?

И вот что самое удивительное — ко мне пришла жена Буббы и спросила, не соглашусь ли я присмотреть за детьми, пока она проводит Буббу в последний путь. Я, конечно, согласилась, я боялась, что, если откажусь, она что-то заподозрит. Так получилось, что в день его похорон я сидела в его доме на кровати его жены с его детьми и кушала цыпленка, которого зажарила его жена, Джули.

Любовник

Джоанн

Ее муж хотел ребенка, вот она и подарила ему мальчика, потому что она любила своего мужа, восхищалась им безмерно. Но ребенок отнял у нее все силы, и теперь секс почти не волновал ее. Она никогда не пылала особенной страстью к мужу, даже в первые годы их супружеской жизни; просто физическая близость давала ей некоторое равновесие. А появился малыш, и она перестала воспринимать мужа в этом плане. Свой брак она считала счастливее большинства других — да, именно так. Муж преподавал в Мидуэстском университете, недалеко от дома; он душой болел за своих студентов — это и подкупило ее: самой пришлось натерпеться от равнодушия учителей; а к ее занятиям он относился с удивительным пониманием и уважением: она писала стихи (которые потом очень удачно перекладывала на джазовую музыку).

Уже два месяца, как она уехала из дома и жила в писательском «городке» в Новой Англии, здесь-то и познакомилась с Эллисом и сразу же окрестила его «любовником», правда, сперва подумала: до чего на волка похож (в улыбке его верхняя губа слегка приподнималась, обнажая правый резец), но тут же смирилась с этой мыслью. Они увидели друг друга как-то вечером перед ужином, она сидела с одним негритянским поэтом, своим старшим собратом, стараясь пропускать мимо ушей его пустую, напыщенную болтовню; ему и в голову не приходило, что он испытывает терпение своих слушателей. Уже больше часа он нес какую-то несусветицу о себе; поначалу она с почтением внимала, так уж была устроена: вроде взрослая, но ведет себя в подобных ситуациях — как учили в детстве, а в детстве учили быть вежливой.

Вечно она становилась жертвой монологов, потому что была — так, видно, полагали ее собеседники — идеальным

слушателем. И в самом деле была. Ее тянуло к пожилым писателям и художникам, и она сидела словно замороженная, откуда они плели небылицы про мир искусства и про свои любовные похождения сорокалетней давности (сплетни, хоть и старые,— вещь восхитительная!).

Но до конца могла выслушать совсем немногих. Стоило появиться хвастливой нотке — тут проскочит фамилия какой-нибудь знаменитости, там название блюда дорогого парижского ресторана, а уж если всплывут заглавия забытых книг ее собеседника или бедолага начнет вспоминать, как он приструнил какого-нибудь проныру белого,— она начинала думать о своем и уже не слышала чепухи, которую тот молот.

Точно так вышло и в тот вечер. Старый поэт — стихи его были невыносимо бездарны, а завидного в нем, с ее точки зрения, только и всего что преклонный возраст да острый язык — впился в нее черными, налитыми кровью глазами (она читала в них отчаяние и мольбу о легком приключении), попробуй отвлекись! В общем-то она отлично научилась притворяться — как и многие ее сверстники, которые хотели быть вежливыми и у которых при всем том был прекрасно развит инстинкт самосохранения (поэт, хоть и близок к старческому маразму, думала она, все еще фигура влиятельная в негритянских литературных кругах, ему ничего не стоит испортить судьбу начинающему), вот она и изображала на лице живейший интерес, повернувшись к нему анфас, а про себя прикидывала, в какой бы цвет покрасить свою квартирку, чтобы она стала посветлее. Она, казалось, настолько сосредоточилась на рассказе, что каждое слово буквально ловила на лету.

В комнату вошел Эллис, которому предстояло стать ее любовником, и сел у камина. Был разгар лета, но вечерами в Новой Англии холодало, приходилось топить.

— Вы давно ждете? — спросил он.

Она вдруг поняла, что и в самом деле давно ждет.

— Очень,— ответила она рассеянно, правда, успела отметить его кривую улыбку — он напомнил ей оскалившегося, причем, не очень страшного, волка, и снова повернулась

к старому поэту, ревниво протянувшему к ней руку, чтобы заставить выслушать веселый — так он считал — конец истории. Она засмеялась и принялась дурашливо хлопать себя по коленке, и до того она увлеклась своей игрой, что рассмеялась без притворства. Развлекаясь так, она перехватила взгляд Эллиса и увидела в его глазах тот особый блеск, который сразу же ей стал понятен.

«Мой любовник», — подумала она, впервые заметив его иссиня-черные кудри, коричневые, как воды Миссисипи, глаза, кожу, не слишком загорелую, но приятную. Он был худой и высокий, с узкими бедрами в бежевых твидовых джинсах.

Ужинали они вместе, поглядывая на синеющие вдаль горы Новой Англии, на оранжевые и розовые отсветы заходящего солнца в голубом небе. Он слышал, что она была удостоена какой-то крупной премии за стихи «под звуки джаза», и то, как он об этом сказал, заставило ее изучающе взглянуть на его длинные пальцы, оплетавшие бокал. Любопытно, прикасаясь к ее коже, они будут такими же нежными, какими кажутся сейчас? Она никогда о нем не слышала, правда, она умолчала об этом, может, потому, что он сам за нее сказал. Он долго говорил о себе — легко и охотно, и она расслабилась — даже увлеклась — своей ролью слушателя.

Ему хотелось узнать, есть ли у молодых что-нибудь за душой — у таких, как она, поэтов; он-то считал, что, пока не достигнешь зрелости, о жизни мало что знаешь. Ему было за сорок. Выглядел он, конечно, моложе своих лет, но был, по его словам, много старше ее и добавил, что славы не приобрел, потому что не нашел издателя для двух своих романов (между прочим, они и по сей день не опубликованы — это на случай, если она знает каких-нибудь издателей) и для своих стихов, которые одному его знакомому чем-то напоминали Монтеня.

— Вы красивая, — сказал он, когда наступила короткая пауза.

— А вы умный, — ответила она автоматически.

Как только он упомянул об этих своих двух неопубликованных романах, она тут же отключилась. А к тому времени, как он завел песню о том, что издатели нынче норовят печатать представителей национальных меньшинств и женщин, она и вовсе готова была начать зевать и глазеть по сторонам. Однако не делала ни того, ни другого просто потому, что, увидев его впервые и попривыкнув к мысли, что он похож на волка, подумала: «Мой любовник» — и сейчас наслаждалась этим запретным словом. У нее никогда не было любовника; он будет первым. И тогда она станет настоящей современной женщиной. Его курчавые волосы, узкие, едва намеченные бедра разбудили в ней непривычное страстное чувство.

Ей пришлось хлебнуть немало горя, лишь самым близким друзьям она решилась поведать о некоторых своих несчастьях, зато теперь она многого добилась и была, в общем, довольна собой. И это довольство читалось в ее больших темных ясных глазах, готовых, казалось, в любую секунду улыбнуться. Она не была высокой, но прямая осанка делала ее выше, а специально подобранные босоножки на платформе и пышные от природы волосы, причесанные в стиле «афро», с семью — ни больше, ни меньше — сиявшими на макушке серебряными прядями, которыми она чрезвычайно гордилась (ей только что исполнился тридцать один год) тоже увеличивали ее рост. Она носила длинные цветастые юбки, распахивающиеся при ходьбе и весьма неожиданно обнажившие шоколадно-коричневое бедро и сильные ноги. Когда она припаздывала в столовую и, получив поднос с едой, задерживалась в дверях чуть дольше, чем следовало, в поисках свободного места, в эти мгновения ножи и вилки тамирили над тарелками.

То, что волновало в «городке» прочих — отчего в пруду (предназначенном для плавания) слишком много лягушек, почему к телятине подают мало вина (поговаривали, вообще прекратят подавать вино к столу, а значит, положат конец прекрасной старой традиции «городка!»), — ее, казалось, вовсе не занимало. Она была открытой, веселой, временами

замыкалась в себе, но всегда была рада выслушать другого, любила пошутить, пусть даже и повторяла свои старые остроты (но рассказывала их со вкусом, находила довольно забавными и смеялась от души, не обращая внимания на реакцию слушателей). Она, казалось, никогда себя не перетруждала — ни разу не пожаловалась на то, как идет работа, или на то, что работа застопорилась, будто работала для себя, для собственного удовольствия (или спасения), и никогда не теряла — в работе или в мыслях о ней — душевного равновесия.

Конечно, ребенок отвлек ее от творчества, но в конечном счете эту жертву она была готова принести. Правда, вторым она не собиралась обзаводиться — это было бы непостижимой глупостью, — ну, а тот, что есть, оглянуться не успеешь, как вырастет и пойдет в школу.

Наслаждаясь кратким мигом свободы, выпавшей ей этим летом, предвкушая радость, которую ей в будущем сулила свобода куда более долговечная, она бросилась очертя голову в ненадежные объятия Эллиса, профессионала любовника в основном престарелых дам, ежегодно наезжавших в «городок» поработать и поразвлечься.

Нью-йоркский еврей с довольно приятной наружностью, но недалекого ума, Эллис боготворил все европейское настолько, что глазу постороннему это представлялось чем-то болезненным (он ненавидел Бруклин, где вырос, ненавидел родителей, еврейскую культуру и нью-йоркских негров за их манеру держаться); «темная женщина» — как он ее назвал — умела молчаливо слушать, и это давало отдохновение, особенно после бесконечных вечеров, проведенных с болтливыми дамами, писавшими для «Эсквайра» и «Нью-Йорк таймс». Правда, с помощью этих дам он пристраивался поиграть в теннис с «полезными» партнерами, поплавать в пруду и повеселиться на пикниках, во время которых он рассчитывал завязать нужные знакомства, но все эти полезные люди были заняты лишь собой и слышали только себя. Ему оставалось ловить каждое их слово: они-то уже «всего добились» и теперь, не смущаясь, обнажали перед ним свои

очаровательные недостатки, а он, пока не заполучивший места под солнцем, должен был притаиться, чтобы нечаянным жестом или словом не отбить у них охоту помочь ему.

Он почти услышал, как что-то «щелкнуло», когда он встретился взглядом с этой джазовой поэтессой, и это побавило, взбудоражило его. «Секс», — подумал он. И еще подумал: «Покой».

Конечно, он недооценил ее напористости.

Она сидела несколько часов кряду за пианино, подбирая музыку к своим стихам, а потом, завидя его, когда он проходил мимо по дороге на озеро или назад, распахивала дверь коттеджа и принималась махать ему рукой. Он писал повесть о своей бывшей жене: на озере набрасывал текст от руки («Если мне осточертеет моя писанина, смогу броситься вниз головой», — шутил он) и перепечатывал его у себя в одноместном номере. Она окликала его — волосы распущены, просторное платье — и заманивала к себе в домик, обещая сочувствие вместе с полпорцией завтрака.

В постели он разочаровал ее. Он не растягивал наслаждения и находил по меньшей мере ненужными ласки, которых она ждала от него. Но какое это имело значение, главное, что у нее теперь был любовник! Ей нравилось прижиматься к нему, нравилось целовать лицо — щеки у него стали чуть-чуть дряблыми, но еще несколько лет будут вполне ничего, — ей нравилось писать ему глупые письма, обжигающие страстью и угрозами бросить его, — она писала, и ей мерещилось, что она влюблена по уши. Ей нравилось писать письма, потому что ей нравилось, что она в отличной форме, нравилось как можно дольше испытывать волнение, в которое поверг ее любовник. Такое творилось с ней в юности — в школе и два раза в колледже (один раз — когда она влюбилась в студента, а второй — когда ее соблазнил, не без ее участия и согласия, преподаватель), и для нее это было чувство, которым она просто упивалась. Ее тело пылало, сердце трепетало в груди, пульс развивал бешеную скорость — впервые за долгие годы она поняла, что ей действительно нужен любовник.

Он начал подумывать, что пора маленько умерить ее пыл. Слишком напориста, сказал он. У него нет времени для таких бурных отношений, ведь из-за этого он в конце концов решил развестись с женой. К тому же он писал большую поэму, он начал ее в 1950 году и теперь, в «городке», надеялся закончить. Ей же следует уделять побольше времени своему творчеству, если она надеется снова получать премии. Она ведь хочет получить премию, не правда ли?

Она посмеялась над ним, но не объяснила почему. Вместо этого очень мягко (она сидела как раз у него на коленях, по-матерински приблизив грудь к его лицу) пыталась объяснить, что он неправильно смотрит на происходящее. Что ей ничего от него не нужно, ей достаточно самой мысли, что она любит. (Он слушал ее, и взгляд его был поначалу пустым, а потом стал циничным.) Что касается ее творчества, она работает не так, как он. Творчество значит для нее совсем не то, что он полагает. Оно не мешает ей, к примеру, жить, а если бы стало мешать, она, безусловно, отказалась бы от него. Премии — вещь чудесная, особенно если вдобавок денежные (деньги потом можно потратить на поездку в Барбадос! в Китай! в Мозамбик!), но это не та награда, на которую она делает ставку. Награда, на которую она делает ставку,— сама жизнь! (Ему были скучны эти объяснения, и он начал сердиться.)

Это была их первая ссора.

Когда он снова увидел ее, она только что вернулась из пригорода Бостона, где провела уик-энд (они поссорились в конце недели). Выглядела она веселой, счастливой и успокоенной. В своих письмах к нему — они казались ему надоедливо откровенными и эротическими, хотя, конечно, весьма лестными — она уверяла, что готова объявить всему свету о своей вечной любви и убежать с ним. А вместо этого она исчезла на два дня, даже не предупредив его! Да еще утверждала, что ездила одна!

Она улещала его как могла. Что-то плела — хотя ложь была ей невыносима — о своей работе. «Совсем не клеится,— жаловалась она (губы отливали слова, как литеры),—

не в силах была оставаться в «городке», тут райские условия, а у меня ничего не получается!» Он вроде бы успокоился. На самом-то деле у нее все шло распрекрасно: она отправила издателям рукопись новой книги — как раз той, что наметила сделать в «городке». «А твоя работа поплыла вниз по течению,— усмехнулась она.— Я не хотела нарушать твой покой».

Но сомнений тем не менее не было: его покой нарушен.

Она не сказала ему, что слетала на самолете домой.

Он весь вечер расспрашивал ее о ее городе, доме, малыше и муже. Она поймала себя на том, что расписывает Эллису своего мужа, словно будущей невесте. Она долго говорила о его жестких, бронзового отлива волосах, ровных зубах, его темных-темных глазах, волнующем тембре его низкого голоса. Это удивительно красивый голос, казалось ей сейчас, когда она слышала довольно высокий голос Эллиса. Хотя, если хорошенько разобраться, в нем не было ничего особенного.

Ночью, после бурного, но неудачного вечера с Эллисом, ей приснилось, что на полу их кухни, там, где под окном сбегаются солнечные лучики, она любит своего мужа, и весь следующий день она не поднималась с постели, предаваясь мечтам о дальних странах, рискованных приключениях, страстных любовниках, которых предстояло еще встретить.

Красные петунии

Она погибла во время взрыва, и вот что было написано на предпоследней странице дневника, найденного после ее смерти:

Мой сын вернулся из Вьетнама, и, глядя, как он выходит из автобуса, я уже поняла, что он не тот, что был. Ма, говорит, я тебе покажу, как делать бомбы. Мы вместе пошли к дому, и я еще подумала: ну и шуточки у него! Все, что нужно для бомбы, он рассовал между одеждой, которую вез в солдатском сундучке и в рюкзаке. Чтобы не звякало, говорит.

Сынок, говорю я, мне в доме этих штук не нужно.

А он засмеялся. Пусть разок громыхнет и в тихом Транкиле, штат Миссисипи, сказал он.

Мы всегда жили в Транкиле. Папина бабка была рабыней на плантации Тирсли. Когда я стала агитатором Движения, они раскопали ее могилу. Однажды утром я нашла ее прах на вербеновой клумбе, а одна расщепленная бедренная кость белела среди красных петуний.

Слава

— Для того чтобы видеть свежим глазом, а без этого нельзя творить, надо не быть знаменитой,— говорила Андреа Клемент Уайт молодой женщине, сидевшей напротив и слушавшей очень внимательно.

— Но вы ведь знамениты,— возразила та с подчеркнутым изумлением, рассчитанным на телекамеру.

— В самом деле? — спросила Андреа Клемент Уайт и добавила: — Да, вероятно. Но все же не так знаменита, как... как... — Нет, она, однако, не смогла произнести имени своей соперницы, чувствуя, что если назовет ее, то приумножит этим ее славу и приуменьшит свою.

— Ваши книги расходятся в миллионах экземпляров,— говорила репортерша.— Переведены на двенадцать языков. На немецкий, голландский, португальский...

— А также на испанский, на французский, на японский, на итальянский и на суахили,— подхватила Андреа Клемент Уайт, пропустив по забывчивости русский, греческий, польский и литовский.

— И за свои произведения вы получили... сколько? Сотни тысяч долларов. Не так ли?

— Так, так,— подтвердила Андреа Клемент Уайт тоном маленькой девочки, одновременно горделивой и капризной.— На гонорары я не жалуюсь.

И беседа продолжалась в том же духе. Тактично, без щекотливых вопросов, ибо Андреа Клемент Уайт уже стара и превратилась в обязательный атрибут подобных церемоний и нет таких людей, которые не проявляют к ней почтения.

— Я бы выразила это так,— говорила она.— Для романиста важнее всего, что те, о ком он пишет,— люди. Если ботаник скажет: это красный цветок, для него это важно. Он изучает цветы, и все их свойства для него существенны.

(Мысль работает автоматически. Вот уже много лет никто не задал ей ни одного интересного вопроса.)

Если она такая уж знаменитая, встревоженно размышляла миссис Уайт, улыбаясь будущим телезрителям, то почему она не чувствует себя знаменитой? Деньги она зарабатывает, как справедливо заметила эта молодая женщина, удручающе неосведомленная во всем остальном. Много денег. Бесконечные тысячи долларов. Ее работа признана во всем мире и даже высоко оценена, о чем она в свое время не смела мечтать. И все же остается какая-то пустота, вернее, боль, а это показывает, что она не достигла того, чего собиралась достичь. И поэтому обречена влачить свое существование в тени тех, которые добились большего или, во всяком случае, получили более широкое и горячее признание. Но, если вдуматься, эти «другие» — она тут же всех их вспомнила — те, которых приглашают в качестве престижных гостей, о которых пишут много рецензий, которых часто цитируют, — не добились большего признания и славы, чем она; почему же ей кажется, что ее обошли?

(Она знала: это интервью, когда его покажут по телевидению, не доставит ей удовольствия. Она будет выглядеть тупой, всезнающей, самодовольной или, наоборот, раздражительной, старой и толстой дурой. Телекамера неизменно схватывала присущее ей чувство неудовлетворенности, как бы ловко она его ни маскировала на разные лады: «ах, я так устала», «столько мыслей, просто пухнет голова», «совсем из ума выжила» или еще что-нибудь в том же роде.)

Выходя из телестудии, она подумала, что сегодня же ей предстоит официальный завтрак. В том самом колледже, где более десяти лет она преподавала английскую литературу (сколько сил ей стоило доказать, что Чарльз Чеснатт* писал по-английски!). Будет ректор, будут все ее коллеги, с которыми она сражалась годами, порой успеш-

* Чарльз Чеснатт (1858—1932) — негритянский писатель США, прекрасный стилист. Автор рассказов и романов, в том числе антирасистского романа «Мечта полковника».

ид, а порою нет (против Чеснатта, к примеру, они стойко держались в течение пяти лет). Они будут лицемерно ее превозносить, изгнав из памяти те времена, когда от души желали ей сдохнуть; она — милостиво их слушать. Она вспомнила Кука, декана, он, конечно, уже на пенсии, но немыслимо себе представить, чтобы дело обошлось без него; вспомнила, как он всегда целовал ее первым, когда она возвращалась в колледж после любого, даже самого незначительного, триумфа, и как омерзителен был ей этот поцелуй шершавых, липких, суетливых губ, и как она ему со всею прямою описывала, какие он вызывает в ней чувства. «Но ведь дам полагается целовать!» — восклицал он. Она покорно поднимала руки. Или старалась его избежать, что было сложно, поскольку у них был общий кабинет.

Ну, а кроме того, есть еще и миссис Хайд, ее секретарша, она тоже ушла из колледжа, но продолжает работать на нее дома в качестве литературного секретаря, ее главная поддержка и опора. В любое время дня и ночи можно обратиться к миссис Хайд — у миссис Хайд, кажется, нет более достойного занятия, чем служить ей. Андреа Клемент Уайт понимала, что олицетворяет в глазах миссис Хайд романтику, полностью отсутствующую в ее собственной жизни, и вот уже более тридцати лет немилосердно над ней издевалась. Поскольку, говоря по правде, привыкла, что ей служит миссис Хайд, принимала как должное ее услуги и испытывала зависть и презрение к мистеру Хайду — невзрачному тупому человечку с отвратительными щечками, плоскими, как у змеи, неспособному порадовать жену тем кипением жизни, которое, как ощущала Андреа Клемент Уайт, всегда стихийно вокруг нее возникало.

Машину, конечно, вела миссис Хайд, миссис Клемент Уайт сидела рядом. Непринужденное молчание, царившее в автомобиле, свидетельствовало об их полном взаимопонимании. Когда Андреа Клемент Уайт сидела в автомобиле с мужем, они тоже молчали, и было ясно: они друг к другу притерлись. Мистер Уайт литературой интересовался мало,

с меня хватает, говорил он, того, что я на ней женился и познал на своем опыте, какая она сумасшедшая. Но их молчание было совсем другого рода: в нем ощущалась напряженность, неодобрение, злость. Он не произносил ни слова, давая ей понять, что он о ней думает. Миссис Хайд воздерживалась от слов, чтобы дать ей отдохнуть; она знала: миссис Клемент Уайт после встречи с посторонними нужно помолчать, чтобы прийти в себя.

— Это надо же додуматься, будто черные пишут лишь о том, что они черные, а не о том, что они люди, — с яростью произнесла Андреа Клемент Уайт, разыскивая в сумочке бумажный платок. — Эта пудра отвратительна, — сказала она, обтерев шею платком, после чего он стал темно-коричневым. — Ничего себе додумались — из такого множества оттенков коричневого на все случаи жизни выбрать только один! «Ну, конечно, одного вполне достаточно, им и не нужно больше одного».

Миссис Хайд промолчала. Она вела машину легко, умело. Ей так нравилось быть за рулем этого роскошного серебристого «мерседеса». Нога едва касалась тормоза, автомобиль скользил плавно, без усилий.

Я вхожу в эту студию — Андреа Клемент Уайт снова все проигрывала в памяти, она постоянно так делала (кто-то назвал это проклятием... а может быть, это благословение художника? Миссис Клемент Уайт полагала, что так делают все), — вхожу и, как обычно, сразу вижу: будет ужас. И вопросы будут скучные, и репортерша мало читала, истории не знает, скверно образована. Хватит и того, что белые либералы считают открытием все сказанное и написанное тобой (предполагается, что это чрезвычайно лестно); но ведь от них никто и не ждет такой осведомленности, чтобы отметить в твоём творчестве перемены, эволюцию; для них оно действительно открытие. Но до чего же умилительно невежественна эта молодая чернокожая репортерша! «Вы первая!» — пророкотала она странным, первозданно черным голосом... впрочем, телевидение его отбелит; а когда Андреа Клемент Уайт возразила: «Но ведь

но существует же такого понятия, как первый в области человеческих отношений, разве что в науке», репортерша решила, что она смущается, и подбодрила ее улыбкой. (Андреа Клемент Уайт терпеть не могла, чтобы ее подбадривали, когда она в этом не нуждалась. Именно тут она переключила свою мысль на чисто автоматическую деятельность.)

И тут к машине ринулись кусты сирени, словно их притягивало ее серебро; и сирень, и репортерша смешались: возник образ репортерши с веточкой сирени в волосах. Но почему ее так много здесь, так далеко на юге? Может, сирень пробралась сюда вместе с суровыми зимами? Или она росла тут всегда? Андреа Клемент Уайт не могла этого вспомнить. Она вспомнила себя среди кустов сирени в парке при колледже в штате Нью-Йорк. Меня затопил тогда аромат сирени. Двадцать лет сирень — мои духи, исключая тот год, когда эксперимента ради я попробовала пачули...

Миссис Хайд остановила машину, протянула руку и достала с заднего сиденья трость, благодаря которой миссис Клемент Уайт передвигалась по земле с несколько большей уверенностью. Это была прекрасная дубовая трость с резной ручкой работы знаменитого резчика восемнадцатого века, принадлежавшего хозяйке, которая требовала, чтобы он каждую неделю изготовлял по двадцать таких тростей; она продавала их на рынке в Чарльстоне, что давало ей средства к существованию, когда ее супруг, проиграв все деньги в карты, сбежал с какой-то дамой, снабдившей его новыми деньгами. Резчик, которому осточертело украшать трости резьбой и который не верил, что Гражданская война сделает рабов свободными, но как джентльмен не мог себе позволить взбунтоваться или сбежать, бросив на произвол судьбы беззащитную белую женщину, в один прекрасный день, срубая ветки с дерева, «нечаянно» отсек себе три пальца на левой руке. Но он недооценил настойчивости своей госпожи, достойной Скарлетт О'Хара. Она лишь снизила его норму до пятнадцати тростей в неделю.

Я стояла рядом с Беном и смотрела, как он делает эти трости, думала Андреа Клемент Уайт, ведь Бен — мой отец. Была ли я хорошенькой? Да, возможно. И она во всем помогала ему, покуда не пришла свобода. А потом пришла свобода, и каждый истолковал ее на свой лад, даже Бен. Он просто умер. Я, разумеется, была на похоронах. Мало того, я копала могилу вместе с... тут у нее мелькнула мысль: если она помогала кому-то копать могилу, то, может, ей следовало быть юношей? Она представила себя юношей. Он был красив? Да, подумала она, пожалуй, да. Но потом мелькнула мысль, что, хотя она и помогала рыть могилу, юношей она быть не могла, потому что выполняла на плантации женскую работу и никто не удивлялся, значит, она останется женщиной. И вздохнула с облегчением.

Рудольф Миллер распахнул с ее стороны дверцу, и, высунав голову из машины, она взглянула вверх и увидела его гнусную ряшку. Эту пакостную масляную усмешечку она ненавидела... уже тридцать лет. И как ее ни разу не вырвало? Эта ряшка словно вылеплена из мокрого папье-маше. Она пожалала ему руку: сухая, пухлая старческая рука, толстые, как панцирь, ногти. Хмырь. (Слова из лексикона ее внуков очень кстати возникают в памяти в подобных случаях.) Миссис Хайд рысцой обогнула автомобиль, неся ей трость. Ох и толста же она, да к тому же еще недержание речи. О бог ты мой, опять сирень! Даже здесь. «Когда сирень в последний раз в моем саду цвела...» Эйб Линкольн*, наверное, и не мечтал, что здесь, на Юге, будут такие колледжи для черных. А о чем он мечтал? О том, чтобы производить как можно лучшее впечатление, в этом она не сомневалась.

На щеках у нее коричневые печеночные пятна, и волосы мало-помалу редеют, но не беда. Она могла бы выглядеть гораздо хуже, и все же для нее был бы устроен официальный завтрак, а вечером банкет, и торжественное обсуждение ее новой книги, и телеграммы, и поклонники ее таланта, которые будут с восторгом взирать на нее еще многие, многие

* Имеется в виду Авраам Линкольн (1809—1865) — президент США, возглавивший борьбу против рабовладения.

годы. Успех — самый надежный на свете костяк. Или самая удачная косметика. Но достигла ли она успеха? — спрашивала она себя. И сама же отвечала, раздраженно, хором: да, конечно, достигла! Лишь какой-то тихий голосок на галерке прозвучал неуверенно. Она его заглушила.

А вот, о боже, Макджордж Гранди. Банди. Фонд Форда. Поднимается вверх по ступенькам. (Устроители не пожалели сил, чтобы заманить сюда крупного зверя.) Все окончится сбором пожертвований, так бывает всегда. А не все ли равно? Она стала сочинять речь Макджорджа: «Я вам сразу кучу денег отвалю. Чтоб вам уже не думать о деньгах. И ни у кого не просить. До свидания». Приветственные клики. В воздух взлетают шляпы. Раньше в самом деле бросали в воздух шляпы. Теперь мало кто их носит. Ну, в Нигерии, конечно, говорят, подбрасывают в воздух и людей, но это ужас.

«Эта маленькая женщина нам подарила...» Интересно, говорит ли он: «Этот маленький мужчина?...» Конечно, нет. Какому мужчине понравится, чтобы его называли маленьким? Маленький — немужественный, слабосильный. Но, произнося слова «маленькая женщина», мужчины думают о девственницах и разжигают свое сладострастие. Так бы и накинулся на них!

Но это и есть слава, думала Андреа Клемент Уайт, тыкая вилкой в курицу, которая грациозно, хотя и поспешно, соскользнула на колени к миссис Хайд. Их здесь толпы. Или нужно сказать целая толпа? Во всяком случае, тут собрались все скучающие олухи студенты, которых и когда-либо учила, все бездарные профессора, которым мне хотелось отрубить башку. И ректор лезет вон из кожи: «Эта маленькая женщина...»

Возможно, именно пачули послужили приманкой, на которую клюнул Уильям Литц Уайт, ее муж. Он и понятия не имел о таких ароматах — преуспевающий врач, азартный игрок на бильярде, — да его и не тянуло к ним. К богеме. Моя красавица Богема, называл он ее. Ей хотелось быть богемной: например, писать книги на кухонном столе, но

только чтобы рядом не стояли невымытые детские мисочки из-под овсянки. Пачули — ее предел.

А курочка по-прежнему гнездилась на коленях миссис Хайд. Как большинство незначительных людей, миссис Хайд цепенела при одной лишь мысли, что ей предстоит сделать такой пустяк — снять с подола жареную курицу и водворить ее на стол. Как она сможет, презрев пристойность, плюхнуть злополучную птицу назад, в тарелку миссис Клемент Уайт? Этой прославленной и утонченной дамы (миссис Хайд, возможно, и не думала в точности так, но она читала корреспонденции, где подразумевалось, что миссис Клемент Уайт — утонченная дама). Она начала покрываться испариной.

— Он скучный,— проговорила Андреа Клемент Уайт внятно и безжалостно (она обнаружила, что поступать безжалостно — забавно) — да ведь ей прощали все благодаря ее славе, той пользе, которую она приносила, способствуя сбору средств, и возрасту,— и принялась снимать крохотную курочку с широких колен миссис Хайд. Отцепив ее от платья миссис Хайд — та тем временем от смущения стала пепельно-серой,— миссис Клемент Уайт поднесла ее ко рту и вонзила в нее зубы.

Пять сотен присутствующих сделали то же.

Интересно, размышляла она, жуя курятину, нужно ли на таких торжествах думать о том, что ты ешь? Твердая, как камень, курица, красное кольцо ароматного, сочного яблока. Спаржа, которую здесь, на Юге, только варят, так и не научившись печь? Она решила, что думать не нужно, и ела, размышляя только о том, что ей хочется есть, что пора бы сходить в уборную, что ей скучно до смерти и что бретелька бюстгалтера врежется ей в грудь там, где проходит шрам, оставленный последней операцией.

Из дальних закоулков памяти медленной чередой потянулись все жалившие ее когда-либо осы (владелец газеты, который сказал, что неграм незачем давать высшее образование, впрочем, они, может быть, сумеют заниматься торговлей; женщина, рассказывавшая всему свету о чудесных

озарениях рабыни-кухарки, принадлежавшей ее бабушке; и еще тот...), закружились роем и заглушили своим жужжанием хор похвал. Она усердно жевала курицу, и остальные пять сотен так же усердно жевали с ней вместе, жевали громко, неумолчно и samozабвенно. А она вдруг снова оказалась на плантации. Но где? В Миссисипи? Там слишком жарко, и вообще Миссисипи — это уже клише. Точно так же Алабама, Джорджия, Луизиана. Она выбрала Виргинию, где прохладно в горах и где можно все же с некоторой натяжкой вообразить себе пять сотен кур, предназначенных для такого же количества рабов. Хруп. Она улыбалась, жевала, но не имела ни малейшего намерения слушать, о чем здесь говорят. Она кивнула... по-прежнему усмехаясь и жуя, как жевали все, кто сидел в этом зале... «Вопреки вам я здесь сижу», — подумала она, протянула руку и взяла с тарелки миссис Хайд красное яблочное кольцо. Это второе яблочное кольцо неизменно для нее приберегалось. Своего рода полоскание рта.

Забежав на несколько минут вперед, она увидела, как зануда Тэйлор, ректор, представляет ее публике, а она смотрит на него с угрозой: **НЕ ВЗДУМАЙТЕ МЕНЯ ПОЦЕЛОВАТЬ!** Но он зажмуривает свои лягушачьи глаза, склоняет голову, выпячивает губы и прикладывается к самому крупному из печеночных пятен на ее лице. Хмырь. Одни хмыри. А вслед за ректором подкрадется сзади декан Кук (до сих пор она его держала в поле зрения) и, накренившись, будто падает, прилипнет мокрыми губами к ее шее.

Она представила себе, как бьет его в пах ожидающей ее наградой, каким-нибудь остроклювым серебряным гусем. Гусем? Да, уж верно, будет утка, лебедь или гусь. (Сейчас модно награждать птицами.) А возможно, все три птицы вместе, но не серебряные, а на какой-нибудь посеребренной подставке, и на ней же яйца. Золотые яйца.

Она вдруг страшно развеселилась, вообразив себе поросячий визг Кука, и впилась зубами в курочку, а глаза у нее остекленели от ликования.

Но тут вышла и остановилась перед ними — с неболь-

шим поклоном в сторону миссис Клемент Уайт — маленькая девочка шоколадного цвета. Нет, действительно шоколадного. У плохих писателей все негры шоколадные — это избавляет их от необходимости смотреть и видеть. Андреа Клемент Уайт развеселилась, отметив, что это дитя и в самом деле шоколадного цвета, в точности такого же оттенка, как шоколадное драже.

Девочка открыла рот и уверенно запела старинную, пронзительно знакомую песню.

Песню рабов. Без автора.

Куриные косточки упали на тарелки, как палочки на барабан. Воцарилась наконец-то глубокая тишина.

И безошибочная память этого ребенка, и старая песня на слова неизвестного автора так ее воодушевили, что Андреа Клемент Уайт оказалась в силах встать и с достоинством перенести (публика во время ее речи потихоньку поглощала десерт) вручение ей сто одиннадцатой по счету Главной премии.

Аборт

Они обсудили, не слишком углубляясь, хотят или не хотят они ребенка, которым она беременна.

— Сама не знаю, хочу я его или нет,— сказала она, и глаза ее заволоклись слезами.

Теперь она плакала по любому пустяку, ее поминутно тошнило. То, что у беременных женщин глаза на мокром месте и их мутит, представлялось ей ужасно тривиальным, и тривиальное было ей ненавистно.

— Ладно, обдумай все как следует,— сказал он ровным, рассудительным тоном (и тем не менее она почувствовала сквозившее в нем раздражение), который всегда действовал на нее так успокоительно.

Она ни о чем другом не думала и думать не могла, а он мог, и это бесило ее. В спорах он всегда одерживал верх. Она, как правило, взрывалась, он же становился благоразумным, степенным, ответственным, и хотя не этого она от него ждала, она сглатывала слезы и злилась на себя. Потому что считала его хорошим. Лучше человека, чем он, она не встречала.

— Если б у нас не было ребенка, тогда другое дело,— сказала она уже спокойнее, небрежно смахивая навернувшуюся слезу.

— Слава тебе господи, ребенок у нас загляденье,— говорил он с чувством.

Могла ли она мечтать, что выйдет за человека, который в смирении своем будет возносить хвалу господу за все, что тот ему ниспошлет? Вот уж нет.

Потом они ушли из спальни, где она лежала ничком на их широченной кровати, посреди которой преградой вздымался горб, и по увешанному яркими эстампами коридору прошли в веселенькую, без единой пылинки кухню. Он поставил на плиту ярко-желтый чайник.

Если бы он по-настоящему хотел этого ребенка, он бы попытался его спасти. Но с другой стороны, она бы этого не потерпела, сочла бы, что он слишком много на себя берет. И когда он нахваливал их дочку, жизнерадостную девчурку с победительной улыбкой, Имани мерещился подвох, и она ожесточалась.

— Я вот о чем говорю,— сказала она так, будто у них не в первый раз идет об этом речь.— Второй ребенок меня доконает. И что за жизнь с двумя детьми? Через роды, как и через школу, надо пройти. Но раз родила — и хватит, хорошенького понемножку.

Он поставил перед ней чашку, опустил тяжелую руку ей на голову. Жаркая рука давила на нее, и, когда она взялась за чашку, ей стало не по себе от пара, запаха чая. К горлу подкатил комок.

— Не могу я это пить,— сказала она сквозь зубы.— Убери чашку.

И так день за днем.

Кларисе, их дочери, едва минуло два года. Между рождением Кларисы и последней беременностью у Имани случился выкидыш на нервной почве (она тогда лишилась матери: ее мать, всю жизнь боровшаяся за охрану окружающей среды, погибла от рака легких вскоре после рождения Кларисы — в классе, где она двадцать лет учила первоклашек, все эти двадцать лет протекла шиферная крыша). Имани чувствовала, что здоровье ее подорвано, она и впрямь очень ослабла; и вообще она была болезненной и хрупкой от природы. И все равно она бы и не помышляла об аборте, если б ей по-настоящему хотелось родить этого ребенка.

Жили они в небольшом городке на Юге. Муж Имани, Кларенс, в придачу ко всем своим обязанностям был еще и юридическим советником, и адвокатом их нового чернокожего мэра. Мэр занимал большое место в жизни обоих и потому, что быть первым черным мэром небольшого городка дело сложное, и потому, что Кларенс восхищался

им и почитал его — выше его он ставил разве что руководителей негритянского движения на Юге.

Имани не спешила с окончательными выводами, но отметила, что мэр Карсуэл избегает смотреть на нее, когда она высказывает какое-то суждение или задает вопрос, даже если он у нее в гостях, а продолжает разговор с Кларенсом так, будто перед ним пустое место. Видно, он считает, что женщина не может интересоваться политикой, и уж разбираться в ней и подавно. (Иногда он отпускал комплимент-другой ее кулинарному мастерству или туалетам. Обратил внимание, когда она изменила прическу.) Но Имани понимала политику во всех тонкостях, понимала, кстати, и почему угощает мэра, хоть он и не удостаивает ее разговором: ей необходимо было верить в мэра Карсуэла, хоть он и не верил в нее. И все же когда она обедала в обществе мэра Карсуэла, кусок не лез ей в горло.

Но Кларенс был всей душой предан мэру и верил, что его успех — это в конечном итоге и их успех, их спокойствие и процветание.

В то утро, когда она улетала в Нью-Йорк на аборт, у мэра и Кларенса был назначен деловой завтрак, и по дороге в аэропорт у них только и разговоров было что о муниципальных фондах, полицейских-расистах и условиях преподавания в школах, где после введения совместного обучения черных и белых никак не могли навести порядок. Ни прощанье Кларенс наспех обнял, чмокнул Имани.

— Береги себя, — нежно шепнул он, когда она пошла к самолету. За время ее отъезда ему предстояло составить проект нового городского положения. Дело было первостепенной важности, с этим она не спорила: местные дельцы и торговая палата уже твердили, что мэр не справляется со своими обязанностями, а если послушать телевизор, так и вовсе выходило, будто ни один черный и вообще не способен понять, что такое городское положение.

«Береги себя сама!» Вот именно, думала Имани. Пониманию, ничего другого мне не остается. Но при мысли об этом ей стало жаль себя, а это обесценивало ее решение.

Она надеялась, что он будет беречь ее, и не могла ему простить, что он предоставил ее собственным заботам.

Впрочем, и сама хороша — притвора. Уже через год ей стало ясно, что она тяготится замужеством. Рождение ребенка послужило бы ей отвлечением. И все равно она надеялась, что «беречь ее» будет он. Ее счастье, что он не сложил вещички и не хлопнул дверь. Но он, видимо, не хуже ее знал, что если кто и хлопнет дверь, так это она. Именно потому, что она притвора, и он в конце концов смирился бы с притворством, а она нет.

Всю дорогу в Нью-Йорк у нее ныли зубы, ее выворачивало желчью — она и не подозревала, что ее тело таит в себе такую желто-зеленую горечь. Она была и благодарна распорядительной стюардессе за помощь, и сердилась на нее; та, справившись, не нужно ли ей чего еще, не ушла, а стояла над душой, перешучиваясь с ее белым соседом, который курил не переставая; Имани видела только его толстую волосатую лапищу, похожую на жирного червяка; он был ей до того гадок, что ей не хотелось смотреть в его сторону.

Ей часто вспоминался первый аборт — она тогда еще училась в колледже, — и вспоминался хорошо; он, как ей показалось, свидетельствовал о том, что она стала взрослой, поняла, в каком направлении должна пойти ее жизнь, открыла для себя (с тем, чтобы уже никогда о нем не забывать) смысл существования, открыла, что жизнь — все, что окружает нас и что мы называем жизнью, — отнюдь не оболочка. И жизнь вовсе не внешнее проявление того, что скрыто за оболочкой. Жизнь есть жизнь. И точка. Тогда, потом и даже сейчас Имани радовалась, что ей дано это понять.

Врач — прелесть что за дядечка — был итальянец, он принял ее в кабинете на Аппер-Ист-Сайде и прежде, чем дать ей наркоз, рассказал о своей дочке, ровеснице Имани, которая через год кончала Вассар*. Он болтал без умолку

* Вассар — один из самых дорогих женских колледжей. Основан в 1861 году.

до тех пор, пока не подействовал наркоз, но до этого у Имани успела промелькнуть мысль, что ее тысяча долларов, из-за которых она на долгие годы залезет в долги, пойдет на обучение его дочери.

Когда Имани пришла в сознание, все было позади. Она лежала в приемной на диване. Откуда-то сверху доносился женский голос. Было воскресенье, сестры явно не работают — значит, это сама докторша, решила она. Голос ласково поднял ее на ноги, велел походить по комнате.

— Когда будете уходить, старайтесь идти так, чтобы никто ни о чем не заподозрил, — сказал голос.

Имани совсем не ощущала боли. Это удивило ее. А что, если никакого аборта не было? А вдруг врач прикарманил ее тысячу долларов и, потратив доллара на два эфира, усыпил ее? А вдруг он просто-напросто жулик?

Да нет, у него был такой сердечный вид, и он так участливо, едва ли не по-отцовски, улыбался ей (тут Имани поняла, как она стосковалась по отцовской ласке, отцовской улыбке).

— Спасибо, — от души поблагодарила она врача, поблагодарила за то, что он не погубил ее.

В голосе его явно слышались призывки итальянского акцента.

— О чем говорить, — сказал он. — Такая милая, красивая девушка, вдобавок еще и студентка, совсем как моя дочка, зачем вам осложнять себе жизнь?

«А он славный», — думала она, направляясь в метро, чтобы вернуться в колледж. Осторожно примостилась на свободной скамейке и потеряла сознание. Целых шесть недель она истекала кровью, целый год недомогала.

С тех пор прошло семь лет. Аборт узаконили, теперь можно было лечь в больницу и всего-навсего за семьдесят пять долларов — быстро, надежно и безболезненно — избавиться от ребенка.

Имани когда-то жила в Нью-Йорке, в Гринич-Виллидже, кварталов за пять от больницы, где делали аборт. И сов-

сем рядом с больницей Маргарет Сенджер, где ее научили предохраняться от беременности, что преисполнило ее глубокой благодарностью и восторгом, — подумать только, люди вникают в нужды одиноких и неискушенных девушек вроде нее и заботятся о них! Однако, шагая по кварталу, где современные административные здания соседствовали со старыми, куда более импозантными особняками, Имани — если уж говорить начистоту — чувствовала, что недалеко ушла от себя тех, давних, времен. Как и тогда, она была рабой своих страстей, и, если бы не хирургическое вмешательство и не деньги (на поездку в Нью-Йорк, на операцию), она так и осталась бы рабой своего тела.

Аборт, как она обнаружила, перешел в новую стадию — его поставили на конвейер. Она с радостью отметила, что затерялась среди несчастных, напуганных женщин самых разных оттенков кожи и возрастов, но когда врач приступил к операции, уже без всякой радости отметила, что наркоз не подействовал. Но поточную линию не останавливают только потому, что изделие не устраивает метод обработки. Врач лишь присвистнул, заверил ее, что она зря беспокоится, и довел операцию до конца — страшного конца. Имани потеряла сознание за несколько минут до этого.

Ее уложили в укомной комнатке, выдержанной в ярких красках. Здесь господствовали основные цвета спектра — желтый, красный, синий. Когда она очнулась, ей почудилось, что она в детской. Ей понадобилось срочно выйти.

Добродушная седая, еще крепкая сестра помогла ей прийти в туалет. Собственное отражение в зеркале над раковиной ужаснуло Имани. Она была совершенно серая, словно из нее вытекла вся кровь.

— Выглядите вы плохо, но не огорчайтесь, — сказала сестра. — Немного отдохнете у нас, а когда вернетесь домой, на первых порах щадите себя. Через недельку-другую придете в норму.

Но ей казалось, что она никогда не придет в норму. Ее ребенка — а никакого не «эмбриона» и «не аморфное новообразование» (эти языковые увертки она презирала) —

спустили в канализацию. Никогда, никогда он (она?) не увидит солнца, не отведаст спелого персика.

— Ну вот что, ребяенок, вопрос стоял ребром — либо ты, либо я,— сказала она.— И я пожертвовала тобой.

Кое-кто считал, что Имани не имела права жертвовать ребенком, но Имани понимала, что сейчас не время думать о них.

Домой она вернулась в ясный жаркий субботний день.

Кларенс и Клариса приехали за ней в аэропорт. Привезли букет цветов, выращенных Имани в их садике. Клариса вручила ей букет и крепко обхватила за шею. Едва мать встала на колени, как девочка притихла и всю дорогу до дома сосала большой палец, терла нос указательным, а тремя остальными мяла угол своего одеяльца.

— Ну как? — спросил Кларенс.

— Так,— сказала Имани.

Можно ли объяснить мужчине, что такое аборт? Чему его уподобить — разве что кастрации, думала Имани, но чуть не все, а может быть, и все мужчины завопят: какое может быть сравнение!

— Обезболивание не подействовало,— сказала она.— Хорошо еще, я вовремя потеряла сознание, секунда-другая — и я бы завизжала и дала деру.

Кровь отхлынула от лица Кларенса. Сама мысль о боли, любого рода насилии была для него невыносима. Он просто заболел от одних разговоров на такие темы. Это была одна из причин, почему он стал пацифистом, ну а другая — потому что это нравилось Имани.

Она знала: ему не терпится, чтобы она замолчала, однако беспешно, глухим голосом вела свой рассказ:

— Мне казалось, из меня вытечет вся кровь. Мне словно жилы перерезали. Я стала совсем земляная.

Он потянулся к ее руке. Обхватил ее. Сжал.

— Одно хорошо: теперь я знаю, чего не хочу. И не допущу, чтобы это повторилось в моей жизни.

Они сидели в гостиной их уютного, тихого, со вкусом

оставленного дома. Имани сидела в качалке, Клариса дремала у нее на коленях. Кларенс опустил на пол, преник головой к коленям Имани. Она чувствовала, он ищет у нее поддержки, но ей самой нужна была поддержка. Чувствовала, что они оба, Кларенс и Клариса, виснут на ней, используют ее. Она понимала, что путь к самоопределению лежит через боль, через саморазрушение, но иначе ей никогда не обрести себя, не отъединиться от них. Ей было неприятно прикосновение его головы к ее коленям, но она крепилась.

— Пройди стерилизацию или спи в гостевой комнате. Я и пальцем не дам до себя дотронуться, пока не буду уверена, что мне это ничем не грозит.

Он погладил ее непокорные волосы.

— Мы еще об этом поговорим,— сказал он так, будто речь шла о чем-то другом.— Там видно будет. Не беспокойся. Примем меры.

Она забыла, что на следующий день — в третье воскресенье июня — будет отмечаться пятая годовщина памяти Холли Монро; Холли Монро застрелили, когда она возвращалась домой после выпускного вечера. Имани не пропустила ни одной годовщины. Всякий раз она преисполнялась уверенности, что у ее народа долгая память, что павшие борцы и невинные жертвы не забыты. Конечно же, она слишком ослабла и ей было трудно ходить. Она истекала кровью. Белые законодатели пытались оправдать убийство, которое, по мнению Имани, было не чем иным, как худшей формой аборта, утверждая, что жертва сама его провоцирует (о Холли Монро такого никак нельзя было сказать, но для них это не было препятствием), однако они все как один были противниками аборта.

Вот какие мысли занимали Имани, пока она принимала душ и мыла голову.

На втором году их жизни в этом доме Кларенс установил кондиционер. Поначалу Имани была против: «Хочу дышать настоящим воздухом, слышать, как пахнут деревья, цветы». Но в первое же лето, когда жара поднялась до

шестьдесят градусов, она и думать об этом позабыла. Теперь она хотела только прохлады. И как ни любила она деревья, в жару она свела бы под корень целый лес, лишь бы добраться до кондиционера.

Надо отдать Кларенсу должное, он справился, может ли она пойти в церковь — что да, то да. Но уже сам по себе этот вопрос рассердил Имани. Она всегда отдает дань уважения усопшим, ссылаться на нездоровье не в ее правилах, хотя она отлично понимает: кто умер, тому ничего больше не нужно. А раз так, значит, уважение к усопшим выказывается для себя самой, а сегодня она сама нуждается в отдыхе. В ее нежелании дать себе отдых чувствовалось что-то ненормальное, такое ощущение не покидало ее, пока она собирала Кларисины вещи, пока бродила по комнате. И все же это ее не останавливало. Она напустила ванну, плюхнула в нее девочку; склонясь над ванной, терла губкой, прислонив пухлое тельце к коленям, — от напряжения у нее заныл живот (правда, пока еще терпимо), вытерла Кларисе волосы, вынула из ванны и, положив на кухонный стол, вытерла насухо.

— Ты запомнишь их навсегда — такие это люди, — сказала она девочке, которая пускала пузыри, что-то лепетала и весело тарасилась на суровое лицо матери. — Ты услышишь музыку, — сказала Имани. — Музыку, которую они пытались убить. Музыку, которую они пытались присвоить.

Ее лихорадило, слова лились несвязным потоком — она и сама это замечала. Но ей было все равно.

— Они думают, они могут убить целый материк — людей, деревья, бизонов, а потом улететь на Луну и обо всем забыть. Но мы с тобой никогда не забудем ни этих людей, ни деревья, ни бизонов, чтоб им пусто было.

— Зонов, — повторила девочка и стукнула мать по лицу ложкой.

В гостиной она положила девочку на одеяло и, обернувшись, поймала сочувственный взгляд мужа. На ней были изящные бархатные тапочки зеленого цвета, прелестный

сине-зеленый халатик, но телу ее под халатом было неуютно, а от его взгляда на глаза ее помимо воли навернулись слезы.

— Порой я гляжу на тебя и думаю: «Откуда здесь взялся этот тип?»

Такая была у них в ходу шутка. Она и думать не думала выходить замуж, она считала, что гораздо лучше иметь любовников: их всегда можно под утро выставить, а потом работать и проводить время, как тебе заблагорассудится.

— Я здесь потому, что ты меня любишь, — полагался ответ.

Но, встретившись с ней глазами, Кларенс запнулся, и Имани отвела взгляд.

К десяти часам жара поднялась до пятидесяти с лишним градусов. К одиннадцати, когда начнется поминовение, она подскочит до шестидесяти. Имани шатало от жары. В машине у нее так закружилась голова, что, пока не заработал кондиционер и не окутал их прохладой, она сидела, стиснув зубы. Низ живота мучительно ныл.

Кондиционера в церкви, конечно же, не имелось. В настоящей баптистской церкви иначе и быть не могло.

Поминовение, как и все предыдущие четыре раза, устраивали одноклассницы Холли Монро. Все двадцать пять — и толстушки, и худышки — от первой до последней походили (и как только им удалось этого достичь?) на погибшую девушку. Имани никогда не видела Холли Монро, но в этой церкви, где Холли крестили, где она пела в хоре, над кафедрой всегда висели ее фотографии — и Имани в каждой чернокожей девчужке нежного возраста виделась Холли Монро. Если же копнуть поглубже, то в Холли Монро она видела себя самое. Это ее застрелили, это в ней убили живую жизнь в ту самую пору, когда еще бы чуть-чуть и она нашла бы себя.

Ей хотелось плакать, плакать навзрыд. Но она сдержалась. И хотя живот болел все сильнее, взяла себя в руки, а слезы мигом осушила жара.

Мэр Карсуэл поджидал Кларенса в приделе церкви,

Поминутно промокая толстое брыластое лицо огромным платком, он держал речь перед группой молодежи человек в пять, которая трепетно внимала ему. Имани поздоровалась с мэром — он привычно чмокнул в щеку ее, чмокнул Кларису, но при этом его осоловевшие от жары глаза смотрели только на Кларенса. Оба тут же удалились в укромный угол подальше от оробевшей молодежи. Подальше от Имани и Кларисы, которые нерешительно прошли мимо них, ожидая, что мужчины присоединятся к ним или окликнут и попросят их подождать.

Минут пятнадцать их ублажали музыкой.

— В Холли Монро было сто пятьдесят восемь сантиметров роста, и весила она пятьдесят пять килограмм, — так начала свою речь ее ближайшая подруга: она читала не по бумажке, а обращалась к каждому из слушателей в отдельности. — Она была Стрелец, упорный и верный, в Стрельцы, как известно, лучшие на свете друзья. Волосы у нее были черные, курчавые, и она вечно пробовала новые прически. Летом кожа у нее была точь-в-точь такого цвета, как эта дубовая скамья, зимой (палец вверх!) — цвета вот этого соснового потолка. Из всех цветов она больше всего любила зеленый. Сиреневый цвет она не любила потому, что, по ее словам, не выносила розового всех оттенков. Глаза у нее были карие, и она всегда ходила в очках, но, если шла на свидание в первый раз, очки не надевала. Носик у нее был тупой. Зубы крупные, красивые, а губы всегда обветренные — она так и не приучилась носить с собой гигиеническую помаду и поэтому редко улыбалась. Ноги у нее были на редкость изящные.

Из церковных гимнов ей больше всего нравился «Предаю себя мышце вечной твоей», из мирских песен — «Что мне делать с собой, люблю тебя, дорогой!». Она нередко опаздывала на спевки, хотя петь любила. Платье, в котором она пришла на выпускной вечер, она сшила себе сама на курсах домоводства. Домоводство она терпеть не могла.

Рассказ о Холли Монро сопровождало тихое непрерывное жужжание двух голосов. Все вокруг затихли, даже

Клариса не ерзала — так увлек их простодушный рассказ девушки. Одноклассницы Холли Монро и ее подруги по хору надели ярко-зеленые платья. Имани представилось, что волнующая, ослепительно яркая зелень платьев должна так же очаровать Кларису, как вид волнующейся нивы.

Подхватив дочку, Имани на цыпочках пошла к двери — низ живота пекло огнем, пот ручьями тек по спине. Кларенс и мэр как ни в чем не бывало продолжали разговор. До нее доносилось: «Заседание комитета... члены муниципалитета... городской совет».

Кивком головы она попросила Кларенса подойти.

— Нельзя ли потише? — прошипела она.

На самом деле она хотела сказать: и не стыдно вам, почему вы не прошли в церковь?

Но им не было стыдно. Кларенс вскинул голову и, встретив ее взгляд, растерянно пожал плечами. Потом оба повернулись и с отрешенным видом жрецов неспешно двинулись к двери, вышли на церковный двор и под раскидистым дубом поодаль от церкви продолжили беседу. И так и проговорили до самого конца службы.

Два года спустя Кларенс бушевал.

— Что с тобой творится? — спрашивал он.— Ты меня никогда не подпускаешь к себе. Велела мне спать в гостевой комнате, я согласился. Велела, чтобы я прошел стерилизацию, я и на это пошел, хоть и был против. (В его гневном голосе слышались слезы — слезы ненависти к ней, ненависти за перенесенное унижение: евнухом — вот кем он стал по ее милости.)

Она не просто была холодна с ним, она совсем отдалилась от него.

Имани поражалась себе: после того, как Кларенс с мэром ушли с поминовения Холли Монро, это не помешало ей поехать с Кларенсом домой. Месяцем позже это не помешало ей нежно улыбаться ему. Не помешало поехать на Бермуды и несколько блаженных дней, укрывшись за деревьями на пустынном пляже, жадно любить друг друга. Не помешало слу-

шать рассказы матери Кларенса о юности сына с таким видом, будто она хочет запомнить их навечно.

И все же. С той самой минуты в тот нещадно жаркий день, когда он вышел из церкви, она отъединилась от него, отделилась настолько, что он стал для нее чужим — бывшая близость почти никогда не возвращалась.

А он ничего не почувствовал, не заподозрил.

— Чем я виноват перед тобой? — нежно спросил он, нежность в его голосе накрыла ее как волна. Губы ее растянула робкая улыбка, он же счел ее издевательской — так далеко их развело.

И не раз и не два обсуждали они случившееся в церкви. Мэр Карсуэл — они больше с ним не встречались — стал образцовым мэром и собирался баллотироваться в законодательный орган штата; его активно поддерживали как черные, так и белые избиратели. Оба вспоминали его неохотно, хотя телевизор часто напоминал о нем.

— Я обязан был помочь мэру, — сказал Кларенс, — он ведь был нашим первопроходцем!

Имани разделяла его чувства, но выразить их он мог менее бинально. Она не сдержала улыбки, и он обиделся.

Она знала, когда именно их брак перестал существовать, знала с точностью до минуты. Но, судя по всему, эта минута не оставила по себе следа.

Они пререкались — она улыбалась; дулись, винили друг друга, плакали — а она все собирала вещи.

У каждого готово было сорваться с языка, что ребенку, от которого они избавились, сейчас исполнилось бы два года и он был бы страшным шалуном, тяжелой обузой для матери, чье здоровье полностью восстановилось; у каждого язык чесался сказать, что их брак все равно бы расстроился по одной по этой причине.

Познакомьтесь: Льюна — и Айда Б. Уэллс

С Льюной я познакомилась летом 1965 года в Атланте, где мы обе участвовали в политической конференции и митинге. Как временные активисты предвыборной кампании, мы отправлялись в захолустные городишки южной части штата, и нужно было нас вдохновить. В свою родную Джорджию я уехала из Нью-Йорка автобусом от колледжа Сары Лоуренс, чтобы попробовать свои силы в регистрации избирателей. По духовному подъему негритянского народа, по его поразительной решимости было ясно, что происходит революция, и я не хотела ее пропустить. Особенно в таком летнем, насквозь студенческом исполнении. Да и чем плохо немного пошататься по Югу.

Льюна сидела в кузове грузовика и ждала, когда ее отвезут с митинга, проходившего в баптистской церкви, в какую-нибудь благожелательную негритянскую семью, готовую ее приютить. Я потому запомнила, что кто-то решил, что я тоже поеду, и познакомил нас: Так и вижу, какое у нее стало лицо, когда я сказала: «Нет уж. Хватит с меня грузовиков. Атланту я знаю. Пройдусь пешочком». Она решила (так мне показалось), что я не хочу ехать рядом с ней, потому что она белая, но мне было все равно, как она истолкует мои слова. И все же меня поразили ее пассивность и терпение: ей сказали, что нужно спокойно ждать, вот она и сидела в кузове, одинокая и забытая.

Сколько я ее помню, у нее с лица не сходило выражение терпеливого ожидания. Знала-то я ее всего года четыре, а кажется, что дольше, может быть, потому, что мы встретились в очень светлую пору. Правда, Джона Кеннеди и Малькольма Икса уже убили, но Кинг еще был жив и Бобби Кеннеди — тоже. Да и страшные, причудливые удары смерти, выхватывающей из наших рядов то одного, то другого борца, эмиграция, побеги на Кубу, перестрелки между преж-

ними друзьями по Движению, навеки разделенными ложью, посаждаемой ФБР, убийство старшей миссис Мартин Лютер Кинг, когда она играла в церкви на органе, — все это было впереди, в будущем, которого мы, по счастью, не ведали.

Мы думали, что сможем изменить Америку, потому что молоды и умны и готовы взять на себя ответственность за перемены. Мы не верили, что можем потерпеть поражение, вот почему наши песни были такими пламенными (это было пламя возрождения: мы возродим Америку!); вот почему наша дружба (обычно между неграми и белыми) была такой теплой; этим же питалась наша чудесная любовь (тоже между неграми и белыми).

Позже мы с Льюной поселились вместе, и первым делом меня поразило, что она не носит лифчика. Да она в нем и не нуждалась, вот что забавно. Льюна была почти совсем плоской, с детскими грудками. Круглолицая, прыщавая. Всегда носила с собой тубик крема «под цвет кожи» (розовой или майтаво-белой, само собой), чтобы подсушивать прыщи. Ни с того ни с сего она вдруг вынимала крошечное латунное зеркальце и принималась замазывать их — перед светом, во время предвыборного инструктажа или рассказывая мне о новой подруге своего отца.

Нам предложили работать вместе и послали в маленький южный городок, славившийся жестокой сегрегацией и получивший в свое время от отцов-основателей немислимое имя — Фриголд, «свободная земля». Стоило Льюне переступить или разволноваться, как она начинала тяжело дышать — разыгрывалась астма. Черные волосы до плеч, зачесанные за уши, челка до бровей, маленькие карие глаза. Она могла понравиться, но давалось ей это нелегко, и, располней она хоть чуточку, все пропало — затерялась бы в толпе, как и все толстухи, которым даже революция не впрок. У меня есть фотография Льюны на ступеньках дома в Южной Джорджии: в ушах маленькие жемчужные сережки, темная блузка без рукавов, с белым отложным воротничком, длинные шорты, а на ногах едва держатся индийские сандалии с петелькой для большого пальца.

Лето 65-го было очень жарким, как обычно в тех краях: Тучи мух и москитов. Все жаловались на жару, мух и трудную работу. Льюна хныкала меньше других. Изо дня в день по десятку миль вышагивала она рядом со мной по прямым дорогам Джорджии, останавливалась у каждого дома, казавшегося негритянским (в 1965 году их легко было узнать); и спрашивала, нужно ли показать, как голосуют. Очень просто: написать имя или поставить крестик в нужной колонке. И хотя сами мы обязались всюду ходить пешком, зато будущим избирателям могли предлагать машину, чтобы добраться без опаски до здания окружного управления, а позже — к месту голосования. Еле живая от жары, тяжело, по-собачьи дыша ртом, с потными волосами, прилипшими к голове, Льюна смотрела только вперед и шла так, будто само движение служило ей наградой.

Многого ли мы добились тем летом, я не знаю. Сейчас кажется, что не слишком, да и какое это имеет значение. Жили мы все вместе, и черные, и белые. В негритянских домах нас принимали с неизменным радушием и дружелюбием. Удивительно, но я считала это в порядке вещей. Я теперь понимаю, что всегда и всюду ожидала радушия, доброты. Моя «храбрость» часто изумляла Льюну. Подходим мы к уединенному фермерскому домику, и с полдюжины собак с лаем кидаются нам под ноги, а невдалеке под деревом сидит и посвистывает огромный негр с ружьем. Льюна сразу напрягается, а я беззастенчиво кричу на чужих собак, смазав одну-другую по носу, и затеваю с незнакомцем разговор об охоте.

Целый месяц мы каждый день встречали новых людей, и до меня окончательно дошло то, что в глубине души я всегда подозревала: а полагала я, что негры лучше всех. Не только лучше белых — тут я даже не задумывалась, ведь любой черный лучше белого, — нет, лучше всех! Да что там говорить, только белые способны взорвать воскресную школу и, ухмыляясь в телекамеру, радоваться своей «победе» — смерти четырех негритянских девчушек. От них только и жди жестокости. Но чтобы негры могли отнестись к нам с Льюной не так тепло и сочувственно, мне и в голову не приходило. Две

наивные северянки, черная и белая, неожиданно вторгались в их жизнь, но даже любопытство они проявляли сдержанно и учтиво. Меня принимали как родственницу, а Льюну — как желанную гостью.

Как-то мы остановились в доме немолодых супругов с дочкой-школьницей. Мать работала на местном консервном заводе, а отец — на целлюлозной фабрике в соседнем городке Огаста. Ни разу не упомянули они об опасности потерять из-за нас работу, а их маленькая дочь и виду не подавала, как боится, что в дом могут ворваться расисты. И я знала: что бы ни случилось с этими людьми потом, они никогда не станут жаловаться, что это из-за нас. Они понимали — им грозит опасность, но шли на риск. Не думаю, что они были храбрее других.

Мне кажется, Льюне понравилось, что домик у них маленький — только четыре комнаты. Тогда-то она и высмеяла плохой вкус своей матери. Желто-лиловый дом в Кливленде, одиннадцать комнат, теплый гараж, вечно изменяющий отец, их развод, ожесточенная борьба за детей и еще ожесточеннее — за собственность. К матери отошли дом и дети. У отца остались машина и новая подружка, с которой он хотел познакомить Льюну, чтобы получить «одобрение». У меня не уместилось в голове, как можно так не любить мать. Все, что Льюна в ней ненавидела, укладывалось в два слова: «желтый и лиловый».

У меня есть еще одна фотография, где к Льюне и всей нашей группе прицепился полицейский. Этот представитель лучших сынов Джорджии подъехал к нам в пустынной местности, чтобы втолковать, что на Юге мы зря растрачиваем энергию, когда на Севере, «бог свидетель», не лучше, чем у нас (он думал, что мы все там живем, и не верил, что большинство из нас — местные. Я уже тогда сообразила, что он говорит дело, но мы-то были в то время на Юге). Льюна смотрит на него с привычно приоткрытым ртом, в глазах — изумление. Я не вижу испуганных лиц, хотя все мы боялись. Что ни говори, 1965-й шел вслед за 1964-м, когда местные полицейские завели в глубь миссисипского леса и зверски

замучили трех участников Движения за гражданские права. Льюна почти всегда носила плоскую черную сумку. Она стоит, прижав ее к себе, засунув палец за ремешок.

Ночью мы спали в одной постели. Вспоминали школьные годы, любовников, которых не поняли и о которых тосковали. Она сказала, что мечтает поехать в Гоа. Я мечтала об Африке. Моя мечта осуществилась раньше: я писала под деревом стихи, когда на меня неожиданно свалилось известие о стипендии. Без сожалений бросив Фриголд, штат Джорджия, я посреди лета вылетела из Нью-Йорка в Лондон, оттуда в Каир, оттуда в Кению и, наконец, в Уганду, где и поселилась среди черного народа, по-прежнему рассчитывая на радушие и доброту, точно так же как и в Джорджии. Меня, как водится, возили по Нилу, я принимала все приглашения на обеды, где в мою честь готовились лучшие местные блюда. Ко мне относились как к вновь обретенной родне, чьи предки в давние времена сделали глупость, застряв в Америке.

Льюне я написала сразу же. Но не виделись мы еще около года. Я закончила колледж, и друзья пустили меня пожить в своей квартире в районе Бруклин Хайтс, но через месяц пришлось выселиться. Льюна жила тогда в большом доме на Девятой Восточной улице, она предложила переехать к ней, в ее три комнаты. Если бы я хоть взглянула на эту квартиру, ни за что бы не согласилась там жить. Дом стоял между двумя авеню, и подъезд не запирался. Наркоманы, пьяницы и прочая публика часто забредали ночью (а иногда и днем), чтобы поспать под лестницей или справить нужду в глубине нижнего вестибюля.

Льюна жила на четвертом этаже, в квартире, где все было белое. Ошеломлял контраст между трехкомнатной квартирой с кухней, красной ванной и вонючей лестничной клеткой. Мебелью служили большие железные кровати, оставшиеся от прежнего жильца (Льюна ободрала с них краску), и длинная церковная скамья с высокой спинкой, которую она ухитрилась привезти с Юга. Была в этой маленькой квартирке какая-то милая простота. Я тогда любила резкие контрасты, да и сейчас люблю. Окна выходили на трущобы, уродли-

вые и разгромленные, как после бомбежки (и вроде бы враждебные, хотя наши соседи-латиноамериканцы никогда на нас не покушались. Они, видно, сами были обескуражены мраком и мерзостью этого района). А по эту сторону окна — церковная скамья, прямая и жесткая, как простертый Авраам Линкольн, безупречно белые монастырские стены да маленький, невыразимо чистый кусочек голубого неба в окне дальней спальни. (Льюна считала, что шторы на окнах не нужны, а может, у нее не было денег их купить, и мы всегда раздевались и принимали ванну в темноте, при свечах, отбрасывавших на стены бесформенные тени от наглухо закрытых ночных рубашек с длинными рукавами — мы обе носили такие.)

Шли недели, и наше взаимное уважение переросло в теплую и уютную дружбу, дарившую ощущение надежности и покоя, в котором мы тогда так нуждались. Целый день я проводила на работе в отделе социального обеспечения. Приходя домой, садилась за машинку, которая всегда ждала меня в маленькой гостиной. Льюна работала в детском саду, а вечерами учила португальский язык.

Здесь, в квартире на Девятой Восточной улице, она призналась, что на Юге ее изнасиловали. Даже теперь мне трудно передать, в какой я пришла ужас, никак не могла поверить. Эддридж Кливер* тогда еще не писал, что он революционер-насильник и «практикуется» на черных женщинах, чтобы перейти потом к белым. И если я не ошибаюсь, Лерой Джонс** (так он звался в те времена, а теперь, конечно, Иمامу Барака, что звучит еще самонадеяннее, чем «Ле Руа» — «король») не успел еще опубликовать свой совет черным юношам-повстанцам (как надлежит поступать бунтующим женщинам, он не объяснил): «Насилуйте белых девушек. Насилуйте их отцов». Он, понятно, придавал своим словам и буквальный смысл, и еще такой: изнасиловать белую

* Кливер Эддридж (род. в 1935 г.) — писатель, один из организаторов «Черных пантер».

** Джонс Лерой (род. в 1934 г.) — писатель, драматург, взял псевдоним Иمامу Барака — Благословенный имам.

девушку — все равно что надругаться над ее отцом. Негры, да и вообще мужчины, не улавливали, в чем тут особая жестокость, зато уж женщины любого цвета кожи ее безошибочно чувствовали и возмущались.

— Расскажи подробнее, — попросила я.

Она пожалала плечами, назвала имя. Оно встречалось в газетах, правда, мелким шрифтом.

В Движении он не блистал и вообще ничем не выделялся. Я его видела как-то. Он мне не понравился: неотесанный какой-то, а негротянок называл «наши бабы». (Когда Движение только зарождалось, мы тешили себя мыслью, что черные мужчины хотят, чтобы все мы вместе были при них, потом уж догадались, что они понимали это буквально — принадлежали им.) В его внешности было что-то отталкивающее, хулиганское: развинченная походка, маленькие глазки, бугристая кожа, скверные зубы, да и тех маловато. Смешно, что именно он одним из первых выдвинул лозунг, который потом прочно связали с именем Стокли Кармайкла*, — «Черная власть»! Стокли эту идею приписала пресса, потому что он был красивый, фотогеничный и бойкий на язык. А у того даже имя было какое-то уменьшительное — Фредди Пай, и это в век гигантов!

— Что ты делала?

— Старалась не поднимать шума.

— Почему ты не кричала? Уж я-то вопила бы как бешеная.

— А ты не понимаешь?

Я понимала. Мне показывали фотографию — труп Эммета Тилла, только что вытасченный из реки. Я видела снимки, где белые люди стояли вокруг костра и смотрели, как поджаривается тот, кто еще недавно говорил понятные им слова, пока они не вырвали у него язык. Еще как понимала.

— Что он хотел доказать?

— Не знаю, а ты знаешь?

— А может, он воспылал к тебе страстью? — спросила я.

* Кармайкл Стокли — один из организаторов СККН (Студенческого Координационного Комитета Непротивления).

— Вряд ли,— ответила она.

Мне вдруг стало стыдно. Потом я разозлилась. Просто рас- свирепела. Да как она смеет такое рассказывать! — дума- ла я.

Разве кто-нибудь знает, что думает об изнасиловании негритянка? Кто ее спрашивает? Кому это интересно? Да и разве она сама признается, что рискует быть изнасилован- ной гораздо больше, чем та белая, о которой идет здесь речь? Стоит заговорить об изнасиловании, в котором замешаны люди разного цвета кожи, и первая же мысль негритянки — спасти жизнь братьев, отца, сыновей, возлюбленного. Этот рефлекс вколочен в нее всей историей судов Линча. И во мне он тоже прочно сидит. Описывая в романе вымышленную сцену такого изнасилования, я три раза перечла автобиогра- фию Айды Б. Уэллс* — все надеялась вымолить у нее про- щение.

Я листала страницы и взывала к ее душе: «Пожалуйста, прости. Ведь я писательница». (Мне часто кажется, что стоит только исповедаться в своем призвании, и я заслужу вечное прощение, ведь писатель грешит не только постоян- ным желанием знать — как Ева, но и стремлением проник- нуть в суть — тоже как Ева.) «Я не могу скрывать то, что са- ма жизнь мне открывает. Не хочу никого порочить, но я должна во что бы то ни стало распутать клубок своих пере- живаний — пусть только своих. Айда, я знаю, что ты всю жизнь пыталась спасти негров, обвиненных в насилии над бе- лой женщиной, пыталась спасти их от озверевшей толпы ее сограждан. Я никогда не смогу так глубоко осознать, каково целому народу жить в вечном страхе суда Линча. Да еще эта клевета, что наши мужчины при одном виде белой жен- щины испытывают неудержимую похоть. Ты так убедительно показала, что негры, которых обвиняли в изнасиловании, были лишь невинными жертвами белых преступников, что я росла в полной уверенности, что негры не насилуют белых

* Айда Белл Уэллс (1862—1931) — известная активистка борьбы за права негров, педагог, писательница, много писавшая о судах Линча.

женщин. Вообще. Никогда. Оказывается, бывает: очень испорченные, совершенно ненормальные насилуют. Как ты посоветуешь мне писать о них?»

И она ответила: «Ничего не пиши. Совсем ничего. Твои произведения используют против черных мужчин, а значит против всех нас. Эддридж Кливер и Лерой Джонс просто не понимают, с кем имеют дело. А ты пойми. Помни, что белые приводили детишек полюбоваться на убийство негров, ложно обвиненных в изнасиловании. Они способны раздавать отрезанные пальцы негров как трофеи. Отрицай! Отрицай! Отрицай!»

А я твержу свое: «Мне кажется, что некоторые негры попросту не понимают, что такое изнасиловать. Одно дело признать, что такие случаи бывают, и осудить их, а другое — признать насилие частью бунта против белых, по принципу «отплатим им той же монетой». Да еще гордиться этим».

«Что они знают об Америке,— говорит Айда,— и, судя по всему, ты тоже. Что бы ты там ни узнала или ни почувствовала — молчи! До последнего вздоха!»

Какой, в сущности, бессмысленный совет писателю.

На Фредди Пая я бы тогда и не взглянула. (В том году я окунулась в экзотику: особую слабость питала к белым, знавшим редкие языки, потом был певец-хиппи, мулат, потом здоровенный математик-китаец. Какой он был изумительный танцор! Научил меня танцевать вальс.) А Льюне я поверила.

Помнится, была такая минута, когда я усомнилась в ней, понадеялась, что ничего такого, возможно, и не случилось, что Льюна все выдумала, как «это у них, белых, водится». Но поняла, что зря я так подумала. Она ведь мне одной рассказала.

Ее взгляд говорил: «Слава богу, эта история позади». Наша жизнь текла в привычном русле. Мы пересмотрели все выходившие тогда на экран нудные, иностранные, тоскливые фильмы, где все происходит в полумраке. Мы приспособились поглощать коричневый рис, простоквашу, кое-как притерпелись к каше и чаю, пахнущему неизвестно чем. Моего

дружка-хиппи (он теперь стал известным певцом) мы тоже приучили к каше и к китайским овощам.

Но теперь между нами стояло изнасилование, явное, обнаженное, признанное, засевшее в мозгу. (И мне стало казаться, что оно разделяло нас всегда, даже если б Льюну никто и не насиловал. Моя жизнь зависела от нее точно так же, как жизнь всех черных мужчин, даже ни в чем не повинных, и шачит — жизнь всего моего народа зависела от ее обвинения.)

Пока она ничего не рассказывала, я верила в вечность нашей дружбы. Кто же не мечтает о такой дружбе, родившейся в невзгодах, окрепшей в пору юношеской незрелости, закаленной жарой, москитами и смертельной опасностью! Мы будем путешествовать, будем писать друг другу со всех концов света.

Мы продолжим «интернациональный список» наших любовников и до глубокой старости будем хихикать над их сексуальными талантами (или бесталанностью). Наша дружба выстоит во всех испытаниях как единственная подлинная ценность, ее не разрушат ни брак, ни дети, ни мужья, ежели, конечно, мы вдруг так заскучаем и разуверимся в жизни, что выйдем замуж, — вряд ли это случится, хотя подумать об этом занятно.

Теперь наша горячая привязанность остывала. Льюна слегка пристрастилась к наркотикам, как и все вокруг нас. Я завидовала ее возможностям. И их материальной основе. Ей так наскучило в детском саду, что она бросила работу; тут сразу же материализовался заблудший отец, повез ее в дорогой ресторан есть креветки под чесночным соусом, разбранил за то, что она живет на Девятой Восточной улице, а на меня посмотрел так, словно хотел сказать: «Это, конечно, твоя шачтя — выбрать такие жуткие трущобы». Разумеется, потому, что я цветная.

Мне же приходилось ежедневно отсиживать в отделе социального обеспечения, где я старалась раздобыть пищу и кров для людей, обреченных жить на грязных улицах, прекрасно понимая, что я-то скоро выберусь отсюда. В конце

концов, я ведь «талантливая» выпускница колледжа Сары Лоуренс. Глупо ютиться в доме, где не закрывается подъезд.

В одно воскресное утро я долго оставалась в постели с художником, которого встретила в своем отделе. Внешне он был ужасно похож на поющего ковбоя Джина Отри, но писал замечательные сюрреалистические картины с птицами, упырями и зубастыми фруктами. Накануне мы трое — я, художник и его «старый флотский приятель», только что объявившийся в Нью-Йорке и похожий на художника как две капли воды, — здорово напились и закурили марихуаны.

Наутро «флотский приятель» посапывал в гостиной, как шенок, поджидающий хозяина. Льюна встала рано, устроила шумную возню с завтраком, увидев, что я выхожу из спальни, нахмурилась, а уходя, так хлопнула дверь, что сломала замок. (Льюна взяла за правило встречаться с неграми. Ей было непонятно, почему я упорно живу «с кем попало», как она выражалась: ведь если «спишь с врагом» в политически разложившемся обществе, то обязательно подхватишь «политическую заразу». В этом есть, конечно, доля истины, но я жила в свое удовольствие и пропустила ее упреки мимо ушей. А смешно все же услышать такое от Льюны, ведь ей-то не приходило в голову, что ее черные партнеры рисковали, ночуя у белой женщины, и она свято верила, надо думать, что одно лето на Юге и почти безрезультатная агитационная работа навсегда избавили ее от любой идеологической порчи — расовой, экономической и сексуальной.)

Льюна так и не сказала мне, почему разозлилась в то воскресное утро, но нашей дружбе пришел конец. То, что я привела в дом сразу двух мужчин, ее не задело, хотя вначале я подозревала, что все дело именно в этом. При нашем образе жизни мы не всегда считались друг с другом. У нас бывало множество гостей, очень разных, часто беспокойных и странных. А уж ее-то дружки увлекались наркотиками куда больше, чем следовало.

Мы все дальше отходили друг от друга. Она твердила, что поедет в Гоа. Я чувствовала себя виноватой, что веду такую

беспутную, хотя и приятную жизнь; свою работу я начала люто ненавидеть и разрывалась между желанием уехать в Западную Африку и потребностью вернуться на Юг. Когда пришло время окончательно выбрать, я обнаружила, что воспоминания о том лете на Юге зовут меня обратно в Джорджию. Я хотела понять людей, рядом с которыми жила, и написать о них.

Об изнасиловании мы больше не говорили. Мы не обсуждали ни Фредди Пая, ни того, что Льюна теперь об этом думала. Как-то вечером в последний месяц нашей совместной жизни я увидела на скамье мужскую джинсовую куртку. А наутро из комнаты Льюны вышел Фредди Пай. Он избегал меня — видимо, считал, что негритянка не может сочувственно отнестись к тому, что он провел ночь в спальне белой женщины. Я так опешила, что мне было не до ссоры, да и в душе много всего накопело, не одна только злость. Он ушел.

Этот случай мы не обсуждали. Странно, если вдуматься. Будто Фредди и не было, будто они не провели вместе целую ночь. А через месяц Льюна уехала в Гоа — одна, с присущей ей независимостью. Она написала, что живет на острове, спит на пляже; вскользь упомянула, что нашла возлюбленного, который защищал ее от местных бродяг и других приставал.

Спустя несколько лет Льюна приехала на Юг повидаться со мной и привезла подарок — чудесную керамическую вазочку. Моя дочка потом, много лет спустя, уронила и разбила ее, но я склеила кусочки, и она стала еще красивее: швы придали узору какую-то особую хрупкость.

Потом, потом...

Зрелые размышления

Вот я и рассказала эту «историю». В ней пока нет «конца». Ведь я жива, и Фредди Пай с Льюной — тоже. Хотя однажды в беседе с другом я сказала — себе на удивление, — что написала на самом деле два окончания. Одно — о котором

речь впереди — годится для страны, где царят подлинная законность и справедливость, а то, что вы уже прочли, — это все, что я могу себе позволить в обществе, где линчевание по-прежнему остается, пусть подсознательно, средством утверждения расового превосходства.

Я сказала, что если бы мы действительно жили в обществе, стремящемся к всеобщей справедливости («справедливость» в этом случае означает и справедливое распределение жилья, и равные права на образование, на получение работы, на медицинское обслуживание и т. д.), то Льюна и Фредди Пай были бы на равных, как брат и сестра, как соратники, как товарищи. И тогда им пришлось бы вместе пробиваться к истинному пониманию того, что поступок Фредди Пая значил для них обоих.

Мой друг — негр, он любит меня, и я тоже его люблю, вот почему мы долго решали, как отнестись к этому случаю. Безнравственно, говорили мы, непростительно. Позор, политическое предательство. Но когда мы представили себе, сколько ни в чем не повинных черных юношей из Фриголда, штат Джорджия, могли пострадать, закричи Льюна, в нас закрался страх сродни тому, который заставлял Айду Б. Уэллс избегать вопросов изнасилования. Подоплека этого страха не давала мне покоя. Рассказ был почти написан, но проходили недели, годы, а я никак не могла, вернее, не хотела ни закончить его, ни опубликовать.

За годы размышлений я внесла в него небольшие изменения, подправила, кое над чем задумалась, увидела внутренний смысл. Во всяком случае, я снова обратилась к своим заметкам, которые и предлагаю вниманию читателя.

Льюна — Айда Б. Уэллс Неиспользованные заметки

Дополнительные штрихи к портрету Льюны: в то время многие из тех, кто участвовал в нашей борьбе, и тех, кто стоял в стороне, считали, что слова «черный» и «ниггер» синонимы, и охотно подражали модному жаргону, но Льюна держалась

стойко. Она была из тех стопроцентных американок, которым нелегко даются подражания. Она не смогла бы утрировать даже свою собственную манеру. Она оставалась самой собой: прямой, ясноглазой молодой женщиной, спокойной и наблюдательной, не способной менять кожу.

Игра воображения

Льюна объяснила приход Фредди Пая так:

«В тот вечер он позвонил и сказал, что приехал в Нью-Йорк и разве я не знаю, что борьба перемещается на Север? Я ответила, что, конечно, знаю».

Он спросил, когда с ней можно повидаться.

Она ответила: «Никогда».

Он расплакался, а может, это только по телефону так показалось. Они проводили вечером митинг, чтобы собрать средства на борьбу, и он там застрял. Не в самом зале, а на улице. Главные «звезды» уехали, вообще все ушли. Он один. Никого он в городе не знает. Ее номер разыскал в телефонной книге. И денег у него нет, и остановиться негде.

Нельзя ли ему напроситься в гости? Он устал, проголодался, денег нет — у него и на Юге тоже другой работы не было уже много месяцев, только борьба. И так далее.

Когда он пришел, она сунула наш единственный кухонный нож за пояс джинсов.

Он попросил воды. Она дала ему апельсинового сока, сыра и ломтика два хлеба. Она сказала, что он может устроиться на скамье, и он лег, скатав и положив под голову свою куртку. Она пошла к себе, заперла дверь и постаралась уснуть. Но ее беспокоило, что скамейка узкая и жесткая, и удивляло, что она об этом думает.

Сначала он бормотал, стонал, ругался во сне. Потом свалился со скамьи. Все время сваливался. В два часа ночи она открыла дверь, пригрозила ему ножом и позволила лечь в свою постель.

Ничего между ними не было. Они только говорили. Сначала говорил он. Не об изнасиловании, а о своей жизни.

«Он был таким маленьким и худеньким, помнишь?» — спросила Льюна. (Она была права. В моем воображении он превратился за долгие годы в большого и сильного мужчину. И с ней, наверное, так было.) «В эту ночь он казался совсем крохотным. Ребенком. Он не разделся, только куртку снял. И лежал буквально на самом краю. А я на своем краю. Нас разделяла вся ширина кровати. Мы жались с боков».

На митинге по сбору средств — он проходил, как выяснилось, в здании на углу Пятой авеню и 71-й улицы — руководители представили Фредди как неквалифицированного, почти неграмотного сельскохозяйственного рабочего с Юга. Его выставили перед собравшимися там богачами как образчик: вот до чего на Юге может довести «маленького человека» существующая «система». Ему велели рассказать, как его тридцать семь раз арестовывали. И как тридцать пять раз избивали. И как он потерял сознание в «горячем карцере». Ему сказали, пусть говорит, как умеет. «А говорил он, если помнишь, ужасно безграмотно», — сказала Льюна. Все равно он старался избегать всяких там «энтих» и «ихних». Он болезненно переживал, что его выставляют на всеобщее обозрение, — так аболиционисты когда-то демонстрировали негра Фредерика Дугласа. Но Пай, не в пример Дугласу, не умел произносить звучным голосом зажигательных, страстных речей. Он понимал, что и его товарищи, и пришедшие поглазеть на него богачи видят в нем ничтожного, сломленного человека, ничего не знающего и ничего не умеющего...

Ему было страшно, но он выступил перед этим большим сборищем богатых белых северян, твердо убежденных, что у них никогда не будет расовых проблем — не то что на Юге; тягостными рассказами о своей жалкой жизни он выпрашивал у них деньги.

Под конец все они — и его черные руководители тоже — укатили. За ними заехали подруги — одуряюще надушенные и тщательно причесанные женщины в ярких платьях из набивной африканской ткани, увешанные сверкающими драгоценностями. Фредди смотрел на задние огни отъезжающих машин и вспоминал лица этих прекрасных, но таких чуждых

женщин. Разве они способны понять его жизнь? Поэтому он не просил подвезти, да и ехать ему было некуда. И тут он вспомнил о Льюне.

Потом наступит очередь Льюны. Она припомнит, как она растерялась, не знала, имеет ли право звать на помощь — ведь черные здесь живут в окружении белых и существует традиция судов Линча. Для нее в этом была суть дела.

И так они проговорят всю ночь.

Вот вам и еще одна, целиком вымышленная, концовка. Раз я поверила рассказу Льюны об изнасиловании, а я действительно поверила (расскажи она его еще кому-нибудь, я, может, и пропустила бы все это мимо ушей), то, значит, такая концовка столь же правдоподобна, как и любая другая. Два человека стали теперь «литературными персонажами».

Я заставила их разговаривать, пока они не уперлись в изнасилование. Эту преграду они должны преодолеть сами. Вот тогда и можно будет требовать, чтобы общество выслушивало оправдания черного мужчины без предубеждения и не грозило расправой целому народу по одному только слову белой женщины. А до тех пор любое взаимное чувство негра и белой будет отравлено — изнутри и извне — исторически сложившимся страхом перед кровавой расплатой; и женщины, черная и белая, вряд ли сумеют достичь понимания.

Постскриптум: Гавана, Куба, ноябрь 1976

Я в Гаване с группой негритянских деятелей искусств. Это утро мы провели без наших кубинских хозяев, рассказывая друг другу, чего каждый из нас добился в своей работе в США (среди нас не было равнодушных к политике). И я прочла свою «Льюну».

Я сижу в ресторане «Гавана Либре», высоко над прекрасным городом, с одним из наших — художником-монумент-

талистом и фотографом. Мы знакомы поверхностно, хотя и много лет. Это красивый коричневый статный человек тридцати с лишним лет. В шестидесятые годы он создавал эскизы и расписывал городские стены для СККН и для «Черных пантер» и сейчас был недоволен тем, что мы не увидели ни одной фрески на довольно унылых стенах города, даже рассердился, услышав от кубинских художников, что Куба — это, мол, не Мексика, «у нас нет традиции стеной росписи». «Задача революции,— кипятился Наш Монументалист,— создавать новые традиции». И он с таким пылом доказывал, что его искусство служит революции, что произвел на кубинцев очень сильное впечатление, полностью истощив, правда, их терпение. Они возили нас по городу, показывали огромные плакаты, воспевающие социалистические идеи и героизм таких людей, как Ленин, Камило* и Че Гевара, и приговаривали: «Вот, вот наши фрески».

За ленчем я спросила Нашего Монументалиста, нравится ли ему «Льюна» и в частности заключительная часть.

— Не особенно,— ответил он.— У тебя слишком ветхозаветный взгляд на человеческую природу. Ты не можешь себе представить человека без совести, не утруждающего себя заботой о душе, поскольку он давно ее продал. Короче,— сказал он,— ты не понимаешь, что некоторые люди попросту порочны, это опухоль на теле народа, и лучше совсем ее вырезать, чем пытаться понять, сдержать или простить. Твой Фредди Пай,— тут он засмеялся,— мог насилловать белых женщин по указанию правительства.

«Ого! — подумала я.— Ерунда, конечно, но, может, в ней есть и глубокий смысл?» Я задумалась.

— Я бываю наивной и сентиментальной,— кинула я пробный шар. Я бываю и такой, и этакой, но часто не без умысла. Это тактический ход, провоцирующий собеседника.

— Тебя ошарашили мои слова.— И он снова засмеялся.— Хотя ты уже знаешь, что за деньги черные взрывают других черных, подрываются на убийство Брата Малькольма,

* Камило Сьенфуэгос (1932—1959) — народный герой Кубы, один из руководителей борьбы против диктатуры Батисты.

могут снять план спальни Фреда Хэмптона, чтобы негодяям было удобно застрелить спящего человека, но тебе пока трудно поверить, что негра можно нанять, чтобы он насиловал белых женщин. Однако задумайся на минутку и поймешь, что это идеальный подрывной акт. Наберите побольше негров, дайте им изнасиловать побольше белых женщин или обвините их в этом, и любое политическое движение, сметающее расовые границы, обречено на провал. В жизни действуют гораздо более серьезные силы, чем в твоей истории, — продолжал он, — ты мыслишь в категории чувств, рассуждаешь о вожделении, ярости, медленно переходящих в агрессию и расовую ненависть. Но нельзя забывать и о деньгах — кто знает, не идут ли налоги, которые мы платим, в карман насильников. Не забывай и о сохранении статус-кво, милого сердцу тех, кто платит. Я хорошо это знаю, — сказал он, — потому что мне самому предложили «подработать» в этом роде, когда я был голоден и раздавлен.

— Но ты на это не пошел?

Он нахмурился.

— Ты все о своем. А может, и согласился, почему ты знаешь? За это платили, а я голодал.

— Ты на это не пошел, — повторила я.

— Нет, — сказал он. — Ко мне обратилась черно-белая «команда». У меня хватило сил выставить их из комнаты.

— Но даже если Фредди Пая подкупили, чтобы он изнасиловал Льюну, все равно непонятно, зачем он снова пришел.

— Возможно, мы никогда этого не поймем, — сказал Наш Монументалист. — Положим, ему заплатили за подрыв черного движения на Юге, наняли изнасиловать белую женщину. А когда он немножко поумнел, то оценил, как много сделала Льюна, не позвав никого на помощь.

— Значит, у него все-таки есть совесть — ведь ты это имеешь в виду?

— Может быть, — сказал он, но в глазах его ясно читалось, что я ничего не понимаю в порочности, властности и испорченности современного человека.

Но он, конечно, ошибался.

Стоит ли терпеть этот садо-мазохизм?

(Документ времени)

Дорогая Люси,

ты спрашиваешь, почему я обидела тебя на балу, который мы устроили в помощь движению «Женщин — на выборные должности!». Мне понятны твоё изумление и твоя досада. Ведь бал мы задумали вместе и, как всегда, хотели собрать полный горшок денег на правое дело. А сама идея какова?! «Нарядитесь феминисткой, которой вы восхищаетесь». Но откуда же мне было знать, что ты восхищаешься Скарлетт О'Хара*, — вот отчего в первую минуту я просто опешила.

Возможно, мне стоит ещё раз сбегать на этот фильм. Не знаю. Теперь я спокойней отношусь к картинам, которые в детстве причиняли мне боль, иногда даже смеюсь там, где раньше возмущалась. Нет, слишком уж властно Скарлетт гоняет свою чернокожую служанку по лестницам, а Присси вынуждена паясничать — её покорная, коверканная речь до сих пор звенит у меня в ушах.

Есть и ещё одна причина, почему я не могла заговорить с тобой на балу, она тоже имеет касательство к напряжённому молчанию между нами, к ожесточению и недоверию. Ведь в тот день я провела своё последнее занятие в нашем университете, а оно получилось тяжёлым и безрадостным.

Помнишь, я тебе рассказывала об этих своих занятиях? Их темой был бог. Бог как внутренний голос, сокровенный дух, как потребность человека, попавшего в страшную беду, искать совета и утешения в собственной душе и находить там это утешение, словно оно ниспослано свыше.

(Меня всегда забавляло, что бог, который говорил с Гар-

* Скарлетт О'Хара — героиня романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», по которому был поставлен известный фильм.

риет Табмен* и Соджорнер Трус**, изрекал именно то, что они хотели услышать, да и древние евреи Ветхого завета получали от своего бога такую же поддержку.)

И вот в рассказах чернокожих о том, как их хватали и отправляли в Америку влачить до конца дней рабское существование, я увидела проявление этого сокровенного духа, внутренней потребности в самоутешении, увидела стремление искать бога в собственной душе. Чудесный человеческий дар! Природа создала нас со способностью к речи, но она вложила в нас и способность познавать, ощущать бога. Это ощущение или, по крайней мере, его возможность заложены в нас от рождения.

Ничего нового, я думаю, в этой идее нет, однако мне после того, как я прочла пять-шесть рассказов, она показалась откровением: негрятянку хватают, обращают в рабство, избивают, морят голодом, насилуют, делают матерью, хотя ей хочется совсем других детей, а она прячется где-нибудь в укромном местечке на поле, среди сена и домашней скотины и находит в своем сердце единственные утешение и любовь, какие ей суждено получить в жизни.

Такое впечатление, будто все эти женщины отыскивали в своем внутреннем «я» какого-то близнеца, который спасал их от непереносимой боли в поруганной душе, от постоянного одиночества; и он, этот близнец, есть в каждом из нас, стоит только его призвать.

Чтобы подготовить группу к такому пониманию бога, я попросила их прочесть те рассказы и самим написать похожие истории, представив себя на месте невольниц. Еще я дала им задание объяснить их собственное отношение к богу как внутреннему голосу.

У меня собрались удивительные слушательницы, Люси. Женщины всех цветов кожи и всех возрастов, всех ростов и габаритов, всех слоев общества и всех убеждений. Нор-

* Гарриет Табмен (1820—1913) — одна из видных деятельниц борьбы за свободу негров, организовывала побеги невольников, во время Гражданской войны — разведчица и сестра милосердия.

** Соджорнер Трус (1797—1883) — известная участница борьбы негров против рабства, пропагандистка, оратор.

мальные и чокнутые, мужененавистницы и матроны с детьми, проститутки и девственницы — всякой твари по паре. Чудесная группа! И хотя сначала они боялись признаться — кто же в наши дни рискнет серьезно обсуждать религиозные вопросы? — почти все они тут же почувствовали, что именно я имела в виду под «богом» как внутренним, сочувствующим духом.

Какое же отношение эти религиозные студии имеют к тому, что я обидела тебя на балу? Прямо слышу, как ты задаешь этот вопрос. Сейчас объясню.

Люси, мне хотелось, чтобы мои слушательницы нутром осознали, каково это — быть схваченной и отправленной в неволю. Я хотела, чтобы после наших занятий они уже не относились к рабыням как к чему-то диковинному, любопытному, но далекому от них самих. Я хотела, чтобы они выбросили из головы расистские штампы: негритянки, мол, и не желали другой доли, были довольны, сами «выбрали» для себя рабство и не сопротивлялись.

Каждую неделю в течение всего семестра кто-нибудь из них старался вжиться в образ «рабыни», «хозяина» или «хозяйки» и как бы на собственной шкуре почувствовать, каково это.

Для некоторых негритянок было почти непереносимо писать от лица схваченных и порабощенных, и они выбирали роль «хозяина» или «хозяйки». (Я намеренно не употребляю тут слово «раб», поскольку смотрю на порабощение с точки зрения порабощенного; разница же между «быть порабощенным» и «быть рабом» — огромная.) А кое-кто из белых считал невозможным писать от лица хозяев и самонадеянным — от лица порабощенных. И все же они написали немало отличных работ, хотя не обходилось без зубовного скрежета и слез.

Черные, белые, полукровки описывали плен, изнасилование, принудительное спаривание с целью развести побольше рабочих на плантациях. Писали о попытках к бегству, о продаже детей, о тоске по Африке, о самоубийствах. Но никто и не заикнулся о добровольном согласии на раб-

ство или о счастье. Правда, особенно чувствительные к религиозному духу, пронизывающему некоторые старые рассказы, упоминали о порывах святого восторга и духовных радостях, но таких было немного: одна-две.

Неужели кто-то хочет быть рабом? — спрашивали мы себя.

И всей группой отвечали — нет.

Теперь вообрази наше удивление, когда вечером накануне последнего занятия по телевизору показали специальную программу о садо-мазохизме и две женщины, единственная разная по цвету кожи пара в этой передаче, представились как «хозяйка» и «раба». Негритянка только молчала и улыбалась, а белая — она была как раз хозяйкой и все объясняла зрителям — заявила, что та ее рабыня (у нее даже было на пальце кольцо в форме ключика, который, по ее словам, подходил к замку от цепи на шее негритянки).

Вот почему я обидела тебя на балу, хотя мы и дружим уже больше десяти лет.

Из-за этой сцены все мои уроки полетели к черту, я прямо остервенела, вспоминая, с каким трудом мои слушательницы избавлялись от влияния расистских штампов, от предрассудков, как они старались почувствовать себя на месте поработанных — и все это для того, чтобы увидеть, как над их усилиями и над действительными муками миллионов наших поработанных матерей взяли и насмеялись. Просто две невежественные дамочки, видите ли, воспользовались своим правом публично разыграть «фантазию» на тему, которая до сих пор вселяет в сердца негритянок ужас, а в сердца белых вызывает смятение и гадливость (во всяком случае, в сердцах белых из моей группы).

Одна белая слушательница, явно связанная с компанией местных садо-мазохистов, заявила, что не видит в передаче ничего страшного. (В ней приняли участие и несколько белых мужчин, у которых и рабыни были белыми, и даже выправлены официальные документы на право владения. Кто-то из этих господ протащил свою «собственность» по городу с лошадиными удилами в зубах, а потом «одолжил» другому

садисту для порки.) Все это просто игра, сказала она. Какой от нее вред? С рабством, настоящим рабством, давно покончено.

Нет, Люси, не покончено, и свидетельство тому — недавние книги Кэтлин Бари о женском сексуальном рабстве и Линды Лавлейс, описывающей жизнь такой рабыни. В мире еще есть страны, где людей до сих пор продают и покупают. Поэтому-то, увидав тебя на балу, я не могла отделаться от мысли об оскорбительности твоей одежды. Скажу больше. Когда я разглядела этот наряд Скарлетт, я уже не хотела смотреть на тебя. Не решалась смотреть. Ты права, я словно не видела тебя. Просто я боялась тебя ударить: ведь при твоём воинственном характере это означало бы, что балу конец. Вот и выходит, что мне было лучше глядеть не на тебя, а на твою спутницу, которая накрутила себе волосы а-ля Колетт*.

Одна черная слушательница так ответила этой стороннице садо-мазохистов. Как негритянка, сказала она, я чувствую себя оскорбленной. Словно мне наплевали в душу. Теперь, когда я буду стоять на автобусной остановке, любой белый, если он сидел у телевизора во время передачи, волен увидеть совсем не меня, а рабыню, существо, готовое без звука носить на шее цепь с замком, да еще и радоваться этому. А ведь сейчас тысяча девятьсот восьмидесятый год.

Ее голос дрожал от боли и обиды.

Мы-то с тобой останемся друзьями, Люси, потому что я смогу убедить тебя не восхищаться героинями, чья власть, как, собственно, и одежда, и весь холеный облик созданы теми, кого они поработили. Ну, а как быть с людьми, которые уже никогда не подружатся из-за того, что лицеизрели по телевизору черную «рабыню» и белую «хозяйку»? Мало ли негритянок боится, что белые видят в них только рабынь? А мало ли белых женщин, которые считают, что не-которая толика услужливости со стороны негритянок вполне естественна?

Но что бы там ни показывали по телевизору, черные жен-

* Габриэль-Сидони Колетт (1873—1954) — французская писательница.

щины не желают быть рабынями. И никогда не желали. Мы хотим быть свободными, быть самими собой или погибнуть в борьбе. Гарриет Табмен не даром была нашей прабабкой, пусть это помнят все, и черные и белые, навязывающие нам отношения «хозяев и рабов». Хотя телевидение куда более тонкая штука, чем невольничий корабль, мы все равно замечаем, когда делаются попытки обратить нас в рабство. И мы будем сопротивляться всегда, но только с более мощным оружием в руках.

По правде говоря, нам стоит организовать весной еще один бал, теперь уже в помощь этому сопротивлению. Что ты скажешь? Давай встретимся на неделе и все обсудим.

Твоя подруга
Сьюзан Мэри

Илетия

Одно болезненное, противоестественное испытание перевернуло всю жизнь Илетии, и из-за него она всегда носила при себе маленький пузырек со щепоткой праха.

В городе, где она родилась, жил человек, чьи предки когда-то владели большой плантацией, на которой росло все что душе угодно. Там трудилось множество невольников, и хотя рабство было давно отменено, этот внук рабовладельцев относился к неграм с эдаким особенным отцовским чувством. Он их, понятное дело, обожал. Нет, не теперешних — тут и говорить нечего, — а тех, прежних, которые жили во времена его деда и застряли смутной тенью на задворках его памяти.

Недалеко от центра города этот человек — Илетия его так ни разу и не видела — открыл на бойком месте ресторан, ставший в тех краях очень известным. Назвали его «У старого дядюшки Альберта». В витрине ресторана, поблескивая коричневой вощеной кожей и черными глазками, красовалось некое подобие самого дядюшки. Росточка небольшого. Растянутые в широкой улыбке губы обнажают белоснежные искусственные челюсти. В одной руке на уровне плеча поднос, через другую перекинута белая салфетка.

Вход в ресторан цветному люду воспрещался, но на кухне они, само собой, могли работать сколько угодно. Зато воскресными вечерами негры толпой собирались у витрины и судили-рядили, похожа или не похожа кукла на настоящего Альберта. Помнили Альберта Портера лишь глубокие старики, только вот памяти у них оставалось не больше, чем зрения. Все же им было приятно, что Альберт стоит тут, перед ними; правда, в жизни он вроде никогда не улыбался, но ведь память, как и зрение, может подвести.

Старики вроде бы были благодарны богатому владельцу ресторана: ведь и на них как бы падал отблеск славы. Они

могли дефилировать мимо поблескивающего стекла, за которым стоял дядюшка Альберт, готовый, казалось, сорваться с места по первому зову, и радовались, что хотя черномазых внутрь не пускают, зато старина Альберт уже там и, судя по всему, очень доволен этим обстоятельством.

Что касается Илетии, то ее восхищали дядюшкины ногти. Она дивилась, как искусно они сделаны. И еще эти седые волосы — до чего натурально блестят на свету! Именно Илетия, когда она летом нанялась в ресторан готовить салаты, открыла про дядюшку Альберта всю правду. Это была не кукла, а чучело. Его набили, как набивают птиц.

Как-то ночью, после закрытия, в ресторан вломились, но украли из него только дядюшку Альберта. Взломщиками были Илетия и ее друзья, ребята, которые учились с ней в одном классе и называли ее просто Тией. Ребята, которые купили мотоцикл и разрешали ей кататься. Ребята, которые так хохотали над ее шутками, что даже забывали, какая она хорошенькая. В общем, близкие дружки-приятели. Они потихоньку сожгли дядюшку Альберта в школьном мусоросжигателе, и каждый взял себе пузырек с прахом. А правда про дядюшку Альберта и нервная встряска оставили в душе каждого из них глубокий след.

Испытание выбило почву из-под ног Илетии. Она стала скрытной, недоверчивой и при каждом шорохе вздрагивала. В каком бы городе ей ни приходилось бывать, она упорно бегала по музеям и рассматривала индейские залы — их всюду хватало. Она обнаружила, что кое-где индейские воины и их скво — тоже чучела, настоящие люди, только подгримированные, в париках и в одежде. Их было столько, что всех их не украдешь и не сожжешь. Кроме того, она не знала, хотят ли эти индейцы с храбрыми глазами из стекляшек, чтобы их жгли.

С дядюшкой Альбертом ей все было ясно.

Так что же за человек был дядюшка Альберт?

Уж кто-кто, а он, рассказывали старики, никому дядюшкой не был, только попробовали бы назвать его «дядюшкой».

Помню, говорил один, как они кое-что повесили... отрезали у одного черного парня и повесили... на столбе, в конце улицы, где были магазины для негров, чтобы, значит, убоялись, и кто, думаете, все это снял и закопал? Старина Альберт! А самого парня мы так и не нашли. Обычное дело — привяжут к сырому бревну, бросят в реку, и тони себе.

Он продолжал:

Альберт родился еще в неволе и помнил, как его отец и мать лет десять ведать не ведали, что рабство отменено, — хозяин ничего не говорил, скрыл, понимаешь? Ну и взбесился же Альберт, когда узнал! Сколько же его били — хотели, чтобы забыл прошлое, и чтобы улыбался, и вообще вел себя как черномазый. (Если человек ведет себя как черномазый, говаривал Альберт, то он уж точно напрочь позабыл свое прошлое.) Но Альберт не поддавался. И дворецким не хотел быть — возьмет да что-нибудь разобьет или сломает. Тогдашний хозяин житья ему не давал. Ненавидел пуще отравы, но и другую работу найти мешал. Альберт, правда, и не хотел уходить. Упрямый был.

Во-во, упрямый. Упрямый, как черт, подтвердил другой. Потому-то и не верится, что там, за стеклом, улыбается старина Альберт. Зубы уж больно хороши. Да у Альберта еще в детстве все зубы повыбивали.

Илетия уехала в колледж, а ее дружки завербовались в армию, потому что были бедные. По всему свету они искали и находили дядюшек альбертов, похожих на того, что стоял в ресторане. Илетия особенно сильно хандрила, когда обнаруживала таких дядюшек в своих учебниках, в газетах, в передачах по телевизору.

Куда ни посмотришь — всюду дядюшки альберты (ну и, конечно же, бесконечные тетушки альбертины).

Но у нее был пузырек с прахом, были записи рассказов стариков, были друзья, которые ей писали, что в армии их обучают кое-чему похлеще, чем выбивать окна в ресторанах.

И она очень следила, чтобы в ее собственной душе, как бы ни промывали мозги, дядюшка Альберт не завелся.

Неожиданная весенняя поездка домой

1

Сара неторопливо идет с теннисного корта, приглаживая жесткие черные волосы на затылке. Она здесь пользуется популярностью, и пока поднимается по тропинке к Талфингер-Холлу, сокурсницы обступают ее со всех сторон. Веселая, щебечущая стайка, человек шесть. Сара, самая высокая, раньше всех видит посыльного.

— Мисс Дэвис,— кричит он, не двигаясь с места и дожидаясь, пока девушки с ним поравняются,— у меня для нас телеграмма.

Ирландец Брайен, фуражка в руке, стоит и ждет, пока Сара возьмет телеграмму, затем — общий поклон молодым леди и удаляется. Брайен молод и красив, но так всегда угодлив, что девушки над ним посмеиваются.

— Ну, вскрой же,— восклицает одна из них, видя, что Сара нерешительно разглядывает желтый заклеенный бланк, вертя его так и эдак.

— Нет, вы только поглядите на нее,— говорит другая,— ну, не красавица разве? Какие глаза, волосы, *а кожа!*

Сара высоко зачесывает курчавые волосы, и они, как шапочка, оттеняют мягкий коричневый цвет немного угловатого лица: у нее широкие скулы и острый подбородок. Особенно подружкам нравятся ее глаза: кажется, будто они знают много печального и смешного, о чем другие и понятия не имеют, но тайну хранят про себя.

Подруги часто подшучивают над Сарой из-за ее красоты. Им нравится вытащить ее на посмотренье своим молодым людям, наивным и развязным юношам из Принстона и Йеля. Сара деликатна, и друзьям невдомек, что их бестактность кажется ей просто возмутительной. Но чаще Саре жаль их, и тогда от смущения она ведет себя довольно странно: вот и сейчас она улыбается, воздев глаза и руки к небу. Она всегда относится к их излишней любознатель-

ности как мать, которую донимает назойливый ребенок. А подружки так и светятся приятно и жадным вниманием, пока Сара вскрывает телеграмму.

— Он умер,— говорит Сара.

Глаза и руки устремляются к телеграмме. «Ее отец»,— говорит кто-то. «Вчера».— «О Сара,— и хнычет: — Мне очень жаль».— «И мне».— «Я тоже сожалею».— «Чем тебе помочь?» Но Сара, не оглядываясь, уходит, высоко подняв голову. Шея у нее просто одеревенела.

— Как грациозна! — говорит одна.

— Горделивая газель,— отвечает другая. И они торопятся к себе — переодеться к обеду.

Спальный корпус Талфингер-Холла производит приятное впечатление. Гостиная, что сразу при входе,— еще и маленькая галерея современного искусства, и есть очень ценные оригиналы, литографии и коллажи. Вещи постоянно исчезают. Кое-кто из девушек не может преодолеть соблазна перед «честное слово, настоящим Шагалом» с его литографированным автографом, хотя у них достаточно денег, чтобы приобрести подлинник не хуже тех, что висят в городском музее. Комната Сары Дэвис рядом с гостиной, но у нее на стенах только недорогие репродукции Гогена, рубенсовой «Головы негра», Модильяни и Пикассо. Одна стена целиком занята ее собственными рисунками, и все изображают черных женщин. Портреты мужчин — красками ли, карандашом — ей не удаются: это все равно что фиксировать знак поражения на пустом белом листе. А женщины ее величественны, все с мощными, массивными руками и усталым, но победным взглядом. Посреди стены — красный плакат: мужчина держит девочку, уткнувшуюся ему в плечо. Саре часто кажется, что это она сама, но лицо ее недоступно постороннему взгляду.

Сара боялась уезжать из Талфингер-Холла даже на несколько дней, потому что он был теперь ее домом и подходил ей больше, чем всякий другой. Может быть, она любила его потому, что зимой здесь в огромном камине пылают пахучие смолистые поленья и за окном идет снег,

и разве она не мечтала всю жизнь о горящем очаге и холодном снеге? Пока она собирала вещи, Джорджия казалась очень далекой; Саре не хотелось уезжать из Нью-Йорка. Дедушка, правда, говорит, что здесь «дьявол всегда на чеку, так и хватает девчонок за юбку». Дедушка считает, что лучше Юга ничего нет (хотя, конечно, есть люди, которые портят там всю музыку), и божится, что умрет ну самое большее в пяти милях от того места, где родился. Даже в его сером дощатом доме на ферме и в тощих животных, которые регулярно и неуклонно размножаются, есть какое-то упорство. Вот кого ей хотелось бы увидеть больше всех и сразу, как придет.

В дверь ванной, смежной с ее комнатой, постучали, и вошла соседка, а с ней ворвались громкие финальные аккорды баховского концерта. Сначала она только заглянула в комнату, но, увидев, что Сара одета, прошлепала вперед и плюхнулась на постель, полная блондинка с толстыми, молочно-белыми икрами и вечно серой немытой шеей.

— Чес-слово, ты великолепна!

— Ах, Пам.— Сара досадливо машет рукой. Будь они в Джорджии, даже Пам сочла бы ее самой обыкновенной, хотя и не лишенной привлекательности, *цветной* девушкой. В Джорджии их тысячи, и покрасивее Сары. Только Пам об этом ничего не известно, она никогда не бывала в Джорджии и словом не перемолвилась с негритянкой, пока не познакомилась с Сарой. Увидев же ее в первый раз, она возгласила с пафосом, что Сара точно «красный мак среди бледных зимних роз». Еще ей показалось невероятным, что у Сары всего одно пальто.

— Послушай-ка, Сара,— говорит Пам,— я знаю насчет твоего отца. Сожалею. Правда.

— Благодарствую,— отвечает Сара.

— Может, что-нибудь нужно? Я подумала, ну, если хочешь, я попрошу отца, пусть даст самолет и провожатого. Он, конечно, сам бы тебя проводил, но как раз на этой неделе везет мать на Мадейру. Тебе тогда не надо будет беспокоиться о билетах и багаже.

Отец Памелы — один из самых богатых людей в мире, но говорить об этом не принято. Пам только слегка намекала на это обстоятельство в критическую минуту, когда подруге мог бы понадобиться личный самолет, поезд или пароход. Или кому-нибудь хотелось, например, побывать в глухой деревушке, на необитаемом острове или в пустынных горах. Тогда Пам могла предложить свои деревушку, остров или гору. У Сары просто в голове не укладывается, что есть на свете такие богачи. Это раздражает, потому что Пам совсем не похожа на дочку миллиардера. Дочь миллиардера, по мнению Сары, могла бы не так смахивать на лошадь и почаще чистить зубы.

— Выкладывай, о чем задумалась? — спрашивает Пам; Сара стоит у батареи, касаясь пальцами подоконника. Из окна ей видно, как девушки после обеда снова поднимаются в Талфингер-Холл.

— Думаю о долге детей перед умершими родителями.

— Всего-навсего?

— А ты знаешь, — говорит Сара, — о Ричарде Райте и его отце? — Памела морщит лоб. Сара глядит на нее сверху вниз.

— Ах да, я забыла, — говорит она, вздохнув, — Ричарда Райта здесь не изучают. Самая шикарная школа в Штатах, а девушки выходят незнайками. — Она смотрит на часы. До прихода поезда остается двадцать минут. — И действительно, — продолжает она едва слышно, — ну, почему — стернового элиота или эзратического паунда, а не Райта? — Они с Памелой считают, что э. э. каммингс* был очень прозорлив по части написания великих литературных имен.

— Так он поэт, значит? — спрашивает Пам. Стихи она обожает, любые стихи, а если не знает половины американской поэзии, то по очень простой причине — никогда о них не слыхала.

* Каммингс Эдвард Эстлин (1894—1963) — американский поэт. Автор романа «Громадная комната» (1922); лауреат премии «Дайэл» (1926). Модернизировал правописание и пунктуацию в своих стихотворениях, в частности «отменяя» заглавные буквы даже в именах собственных.

— Нет,— отвечает Сара,— он не был поэтом,— разговор ее утомят,— он писал прозу, и у него были сложные отношения с отцом.

Она прошла по комнате и остановилась перед тумбочкой, над которой висит рисунок: старик и девочка.

— Когда он был маленьким,— начинает она рассказывать,— его отец удрал к другой женщине. Как-то Ричард с матерью пришли просить у него денег, потому что им нечего было есть, а отец отрекся от них да еще и на смех поднял. Ричард был тогда совсем мальчик. Он решил, что отец как бог. Большой, всемогущий, непредсказуемый и жестокий. И такой же полновластный господин над покорной ему вселенной. Ну, совсем бог. Много лет спустя, уже знаменитым писателем, Ричард поехал в Миссисипи, чтобы повидаться с отцом. И вместо бога увидел старого батрака, слезливого и сутулого, потому что он вечно гнулся над плугом, беззубого и пропахшего навозом. Тогда Ричард понял, что самый отважный поступок, который совершил его «бог»,— то, что он удрал к другой женщине.

— Ну и что из этого следует? — недоумевает Пам.— Какой такой долг он обязан был чувствовать по отношению к этому старику?

— А то,— отвечает Сара,— что Райт как раз об этом и думал, глядя на старого полуслеплого негра из Миссисипи. В чем состоит долг сына перед этим потерявшим себя человеком? Долг сына, отец которого не видел дальше поля, к тому же чужого? И кто такой он сам, Райт, безотцовщина с детских лет? Великий писатель, Райт-коммунист, Райт — владелец фермы во Франции, Райт, чья белая жена не могла сопровождать его в Миссисипи? Остается ли он, несмотря ни на что, сыном своего отца? Или то, что отец его бросил, освобождает его от сыновних обязанностей и он теперь ничей сын, так сказать, свой собственный отец? И вправе ли он тоже отречься от отца и существовать как ни в чем не бывало? И как ему жить? Для какой цели?

— Ну,— говорит Пам, тряхнув головой так, что длинные волосы рассыпаются по плечам, и щуря маленькие глазки,—

если отец отрекся от него, то я не понимаю, зачем Райту вообще понадобилось приезжать к нему? Из того, что ты рассказываешь, выходит, что он заработал право быть таким, каким ему хочется. Сильному человеку отец не так уж и нужен.

— Возможно,— отвечает Сара,— но отец Райта был как одна неподдающаяся дверь в доме, где много других прекрасных комнат. И неужели эта дверь должна была навсегда закрыть ему доступ во весь остальной дом? Вот в чем вопрос. Но если он справился с ним в своем творчестве, то интересно знать, в жизни он тоже его решил, если, конечно, вообще решал?

— Для тебя его отец символ какой-то, правда? — спрашивает Пам.

— Да, наверное,— отвечает Сара, бросая последний взгляд на комнату.— Для меня он дверь, которая не поддается, ладонь, вечно сжатая в кулак.

Памела провожает ее до школьного лимузина, и через считанные минуты Сара на станции. Поезд как раз подходит к перрону.

— Желаю приятного путешествия,— любезно говорит пожилой шофер, подавая ей чемодан, и, как всегда, когда видит Сару, подмигивает. Вдали от подруг, она по ним не скучает. Школа — единственное, что их связывает. Как вообще они могут понять, что она за человек, если им не позволено знать, кто такой Ричард Райт? Сара кажется им интересной и даже «прекрасной», но только потому, что они не знают мира, откуда она пришла. А туда, откуда пришли они — Сара имеет об этом смутное представление из их рассказов и романов Скотта Фицджеральда,— ей не войти. Нет у нее входного билета. И желания тоже.

2

Тело отца лежит в бывшей Сариной комнате. Кровать вынесли, чтобы освободить побольше места для цветов, стульев и гроба. Сара долго всматривается в мертвое лицо,

словно пытаюсь найти ответ на вопросы, которые хотелось бы задать. Это его обычное лицо, темная, похожая на шекспировскую голова в седых курчавых волосах. Седые, коротко стриженные усы словно перерезают лицо пополам. Лицо совершенно непроницаемо, лицо в себе, и почему-то очень толстое, словно надутое, кажется, что оно вот-вот лопнет. На отце светло-синий костюм, белая рубашка и черный галстук. Сара нагнулась и ослабила тугой узел. Где-то за лопатками закипали слезы, но так и не подступили к глазам.

— Под гробом крыса,— говорит Сара брату в соседнюю комнату, но он, очевидно, не слышит, так как не спешит к ней на помощь. Сара с отцом с глазу на глаз, что редко случалось, когда он был жив.

«И куда это девчонка запропастилась? — спрашивал он и сам же себе отвечал: — Наверное, опять заперлась наверху».

А все потому, что мать умерла ночью во сне. Просто легла усталая и больше не поднялась, и Сара винила в этом отца. «Надо смотреть на крысу в упор, не мигая, чтобы она отвела глаза,— думает Сара,— это подействует, обязательно. Но может, это не так уж важно, что я его не понимала». «Мы больно часто переезжали, все искали работу и крышу над головой,— громко причитал отец, а Сара молчала в ответ, словно каменная,— эта езда dokonала ее. А теперь у нас свой настоящий дом, четыре комнаты и почтовый ящик на крыльце, но все поздно, она мертвая и ничего этого не увидит».

Когда ему было особенно тяжело, отец переставал есть и почти не спал.

Почему же она думала, будто знает, что такое любовь и когда она есть, а когда ее нет? Вот стоит она здесь, Сара Дэвис, понаторевшая в философии Камю, знающая несколько языков, а главное, она «красный мак среди бледных зимних роз». А ведь прежде, чем стать красным маком, она была самым обычным подсолнушком в Джорджии, но и тогда у них не было общего языка. С ним не было.

«Гляди на крысу в упор»,— думает она и смотрит, не отрываясь, и мерзавка, отведя наглый взгляд, шмыгает прочь.

«Ну вот, хоть какую-то пользу принесла»,— думает Сара. И фотография матери на каминной полке среди брошюр духовного содержания словно оживает. Мать, несмотря на все невзгоды, была полная женщина. Блестящие седые волосы, заплетенные в косу, укладывала в пучок на макушке. Взгляд был острый и покровительственный. Вот так она смотрела на отца: «Он назвал тебя черномазым. Мы нынче же уезжаем. Сегодня, не завтра. Иначе будет поздно. Сегодня». Мать бывала просто великолепна, когда вот так, сразу, принимала решения.

«Но как же твой сад и дети, ведь надо менять школу?» — спрашивал отец, нервно теребя широкие поля соломенной шляпы. «Он назвал тебя черномазым, и мы уезжаем».

И они уезжали. Не зная куда. В другое, тихое место, в лачугу с покосившимися стенами и без кровли, к какому-нибудь новому хозяину, которого надо было ублажать, но не слишком при этом роняя собственное достоинство. Однако Сара, как бы поспешно они ни бежали, помнит только его медленную, шаркающую походку.

«Она и умерла от этих переездов»,— говорил он, но ведь этот постоянный бег тоже был проявлением любви. Какая разница, что ярость отчаяния, в которую он впадал, нередко угрожала самой их жизни? Что однажды он больно отшлепал кричавшего младенца, который потом, совсем не поэтому, умер, а на следующий день они опять переехали.

— Нет,— сказала Сара вслух,— он, наверное, умер по другой причине.

— Что? — переспросил брат, высокий, худой, черный, обманчиво спокойный. Даже ребенком он никому ни в чем не уступал, а взрослым обрел это напряженное спокойствие, словно река, в любой момент готовая выйти из берегов.

Он выбрал для отца гроб тускло-серого цвета. Сара предпочла бы красный. Кажется, это Дилан Томас так великолепно сказал о «затаенном, мрачном протесте мерт-

вых»? Ладно, не имеет значения, можно по-разному выражать протест, не только купив гроб красного цвета.

— Я как раз подумала, что, родив нас, мама и папа сказали свое «НЕТ» во весь голос.

— Не понял, о чем ты,— ответил брат. Он всегда был семейным бунтарем, с холодной яростью встречал любое препятствие и ждал последствий так же невозмутимо, как сейчас ее ответа, но философские хитросплетения и поэтические метафоры, в которых понаторела сестра, были не для него.

— А все потому, что ты проповедник-радикал,— сказала Сара с улыбкой, подняв на него глаза.— Ты сам — наглядная проповедь, проповедь во плоти.— Ее восхищало, как знакомые с детства слова воскресной службы он умел напитать духом борьбы и жаждой перемен. И ей стало грустно при мысли, что такая проповедь поважнее замечательного спецкурса № 201 по искусству средневековья, который она слушает.

3

— Да, бабушка,— отвечает Сара,— в Кросслтоне учатся только девушки, и нет, бабушка, я не беременна.

Бабушка стоит, крепко сжимая в руке широкую деревянную ручку черной сумки, придерживая ее локтем у живота. Глаза посверкивают сквозь круглые очки в проволочной оправе. Она сплевывает в траву возле уборной. Бабушка настояла, чтобы Сара проводила ее в уборную, пока гроб будут вносить в церковь. Бабушка тяжело опирается на Сарину руку, ее собственная рука стала худой и дряблой. «Наверное, тебя учат, как жить в этом мире,— говорит бабушка,— и знаешь, ведь бог — он повсюду. Ужасно хотелось бы повидать своего правнука. Знаешь, тебе обязательно выходить замуж. Я потому и спрашиваю». Она роется в сумке, вытаскивает бутылку «Три шестерки». Пьет она большими глотками, запрокинув голову.

— Мало кто из молодых негров знает про Кросслтон,—

объясняет Сара, глядя, как, изливаясь из горлышка, пузырится и булькает кукурузная водка.— А кроме того, мне совсем некогда, я по уши занята рисунком и лепкой.— Может быть, надо сказать, в каком она восторге от Джакометти? Да нет, не нужно, решает Сара. Даже если бабушка и слышала про Джакометти, а Сара была уверена в обратном, она, конечно, считает его фигуры чересчур тощими. Сара улыбается и вспоминает, как трудно было уговорить бабушку, что, даже если в Кросслтоне не будут платить стипендию, она все равно постарается туда попасть. Почему? Да потому, что она хочет научиться рисовать и лепить, а в Кросслтоне преподают лучшие специалисты. А бабушка считала, что самое большое счастье для внучки — выйти замуж и сразу забеременеть.

— Ладно,— говорит бабушка, с достоинством убирая бутылку в сумку и глядя на Сару просительно,— уж как бы я, того, полюбила бы правнучка.— Видя, что внучка все улыбается, она глубоко вздыхает и, повернувшись, с независимым видом шагает по гравию и траве к церковному крыльцу.

Когда они вошли в придел, Сара сразу увидела дедушкин затылок. Дедушка сидит на первой скамье в среднем ряду перед самым гробом. Его седые, мягко вьющиеся волосы длиннее, чем надо бы. Она садится по одну сторону от него, а бабушка по другую, и он поворачивается и ласково берет Сару за руку. На мгновение она касается щекой его плеча и снова чувствует себя маленькой.

4

Из города до церкви было двадцать миль, которые они прошли по жирной грязи, и придорожная жимолость под жарким весенним солнцем благоухала изо всех сил. Церковь — строение, потерявшее цвет от непогоды, какой-то призрак здания с пустыми окнами-глазницами и осевшей дверью. Однажды ее почти спалили злоумышленники, подожгли горящим крестом. Высокий развесистый красный

дуб, под которым Сара играла в детстве, все еще величественно осеняет церковный двор, широко простирая ветви над крышей и через дорогу.

После короткой, исполненной сдержанного достоинства службы, когда не плачут только Сара и дедушка, гроб с телом отца ставят на катафалк и везут на ближнее кладбище, среди буйной зелени которого белые надгробия кажутся скудными обломками какой-то древней цивилизации. Краешком глаза Сара следит за дедушкой. Он не согнулся под тяжким бременем. Держится прямо, глаза сухие и ясные. Он прост и серьезен, как герой, он человек, который гордится доверием семьи и с достоинством несет горе. «Странно, что я никогда его таким не рисовала, вот просто так, как он стоит здесь, среди всех этих безымянных, незначительных людишек, на фоне которых его профиль, все его лицо, на свету коричневатое, выглядит так горделиво».

Черты поражения, которые всегда пугали ее в лицах негров-мужчин, были «высечены» белыми. Но на дедушкином лице нет и следа поражения. Он стоит как скала, внешне спокойный,— утешение и опора семьи Дэвисов. Только семья его заботит, и он не позволит им пасть духом.

— Я когда-нибудь нарисую тебя, дедушка,— говорит она, когда они уже собираются уйти.— Вот таким, какой ты сейчас, с этим самым,— она подвигается поближе и трогает его щеку,— вот с этим упрямым выражением. И с этим взглядом, говорящим «да» и в то же время «нет».

— Не надо рисовать такого старика,— отвечает он, глядя в ее глаза из какого-то далека, где бродят его мысли,— если ты хочешь меня сделать, сделай из камня.

Могильный холм вышел округлым. Он красного цвета. Все венки прислонили с одной стороны, чтобы с дороги была видна только гора цветов. Но ветер уже обрывал лепестки роз, и под начавшейся дробью дождя на глазах выцветали зеленые ленты. Через неделю потревоженная жимолость, шиповник, дикий виноград и трава снова займут свое место, и все будет как прежде.

— Что ты хочешь сказать этим «приехала домой»? — Брат, кажется, искренне удивлен.— Мы все так гордимся тобой. Сколько черных девушек в твоём колледже? Только ты? Ну, хорошо, еще одна, кроме тебя, но с Севера. Это действительно кое-что!

— Я рада, что это доставляет тебе удовольствие,— отвечает Сара.

— Удовольствие? Но ведь это то, чего так хотела мама,— дать хорошее образование малютке Саре, и отец этого хотел бы, если бы мог чего-нибудь хотеть после маминой смерти. Ты всегда была умницей. Тебе всего два года было, а мне пять, а ты мне показала, как есть мороженое, чтобы не перепачкаться. «Сначала откуси кончик рожка,— сказала ты,— а потом соси понемножку». Никогда не мог понять, как есть мороженое, если оно тает.

— Не знаю,— отвечает Сара,— иногда так сильно чего-нибудь желаешь, а потом видишь, что это тебе совсем и не нужно.

Сара качает головой, и взгляд ее становится сумрачным.

— Я недели трачу,— говорит она,— чтобы нарисовать лицо, не похожее на все остальные, кроме, пожалуй, одного. Как же не думать, что я занимаю чужое место?

Брат улыбается:

— Ты говоришь, что недели бьешься, рисуя все то же лицо, и еще сомневаешься, свое ли место занимаешь? Шутить, наверное? — Он щиплет ее за подбородок и громко смеется.— Ты ведь знаешь, как нарисовать просто лицо,— говорит он,— затем научись рисовать красками меня, а потом сделаешь дедушку в камне. Затем вернешься домой или уедешь во Францию, в Париж. Но это все равно.— В его нежности так много совсем не проповеднического энтузиазма, что она плачет. И с миром в душе укрывается в его братском объятии. Интересно, был ли у Ричарда Райта брат?

— Ты моя дверь, ведущая во все комнаты дома,— гово-

рит она,— никогда не закрывайся.

И он отвечает: «Нет, никогда», словно понимая, что она имеет в виду.

— Когда же мы снова вас увидим, сударыня? — спрашивает он позже, везя ее на автобусную остановку.

— Как-нибудь урву денек и нагряну сюрпризом,— отвечает Сара. На автобусной остановке, возле крошечной бензоколонки, Сара изо всех сил обнимает брата. Белый парень, рабочий, прерывает работу и смотрит на них ухмыляясь. Взгляд у него наглый и презрительный.

— Ты когда-нибудь задумывался над тем,— говорит Сара,— что мы очень старый народ в очень молодой стране? — Она смотрит на брата из окна автобуса, смотрит не отрываясь, пока маленькая бензоколонка не пропадает из виду и экспресс «Серая гончая» не берет курс на Атланту. Из Атланты она вылетает в Нью-Йорк.

В Нью-Йорке она садится в поезд, идущий к университетскому городку.

— Господи,— говорит одна из приятельниц,— да как же ты замечательно выглядишь! Дома тебе полезно бывать.

— Сара ездила домой? — спрашивает кто-то, не знавший о ее неожиданной поездке.— Вот здорово, как съездила?

«Как съездила?» — отзывается эхо у Сары в ушах. Оно такое громкое, что у нее начинает кружиться голова.

— Как съездила? — громко переспрашивает она.— Да, как съездила? — Она видит свое отражение в смеющихся карих глазах.

— Чудесно,— отвечает Сара медленно, улыбаясь в ответ и думая о дедушке.— Просто чудесно.

Девушка улыбается еще шире. Сара молча смотрит, как она, вилия бедрами, идет на теннисный корт, что на заднем дворе, волосы девушки развеивает ветер.

«Надо заставить крысу отвести взгляд,— думает Сара,— и неважно, шмыгнет она прочь или нет. Я все равно настоящая женщина. Я только что похоронила отца и скоро смогу сделать дедушкин портрет в камне».

Источник

Мысль о поездке в Сан-Франциско стала преследовать Айрин в тот самый год, когда начались разочарования из-за правительственных фондов, отпускаемых на борьбу с бедностью. Вашингтон объявил «излишней и романтической» и в конце концов зарезал общеобразовательную программу, которой Айрин отдавала немало времени, энергии и таланта. И тогда ей очень захотелось радостей жизни, которые маленький пыльный городок на Юге страны предоставить не мог. Здесь она и еще несколько молодых идеалистов преподавали «беглое чтение и грамотное письмо» небольшой группе пожилых женщин. Вся «школа» помещалась в старом трейлере, стоявшем на заднем дворе местного колледжа для черных. Учебные пособия написали сами преподаватели и студенты. Желание женщин учиться приятно волновало, но городок был скучный, единственное развлечение — пойти в грязный, недавно десегрированный кинотеатр, где почему-то бесконечно крутили фильмы с участием Берта Рейнолдса. И Айрин просто грезила наяву об улицах, бегущих по холмам, фуникулерах, Чайнатауне и рисе с креветками, о лесах, где растет красное дерево, и Тихом океане.

Вот тогда она и решила навестить подругу по колледжу, Анастасию Грин, с которой училась в Нью-Йорке. Теперь Анастасия жила в Сан-Франциско, часто присылала письма и звала в гости, если Айрин случится попасть в этот сказочный город.

Анастасию она помнила высокой и гибкой. Взгляд у нее был настрожен, глаза, словно подернутые туманом, цветом напоминали топаз, а волосы — старую бронзу. Рот казался слишком маленьким для крупных зубов. Когда Анастасия улыбалась, щеки ее решительно сдвигались к ушам, чтобы зубам было просторно, и лицо из довольно

круглого становилось вдруг квадратным. Однако такая не-правильность черт не только не безобразила ее, но делала даже очаровательной, придавая лицу комичное выражение, хотя сама Анастасия чувством юмора не обладала.

Пребывая на Востоке, она дважды и кардинально меняла внешний облик. Из «южной простушки» (Анастасия приехала из Пайн-Лейк, штат Арканзас) с удивленно распахнутыми глазами, румянцем смущения и до глупости доверчивым взглядом — на самом деле Анастасия не была ни глупа, ни доверчива — она внезапно превратилась в типичную сверхопытную девицу-вампа: высокие сапоги, коротко стриженные, словно прилизанные, выкрашенные в черный цвет волосы, сильно подведенные коричневым и черным «египетской» формы глаза. По контрасту лицо казалось серым, словно от обилия рисовой пудры, да она и действительно пудрилась.

Вторым обликом и своей специфической улыбкой она слегка напоминала Фэй Данауэй, вернее, свойственный той «вид маленького английского школьника», как выражалась Анастасия. Обесцвеченные, еще более коротко стриженные волосы теперь не скрывали очертаний круглой маленькой головы, челка спускалась до бровей, а юбка едва прикрывала зад. В руке она вечно крутила ремешок от маленькой сумочки, на ногах были нелепые курносые туфли. И она не ходила, а словно танцевала, шагая широко и плавно, и не удивительно, что, когда она вдруг, как бы споткнувшись, останавливалась, на память приходила песня «Элинор Ригби».

Как раз щеголяя вторым своим обличьем, Анастасия влюбилась в человека по имени Гален, который так же обо-жал театр, как Анастасия — путешествия. Окончив колледж, Гален перебрался на Западное побережье, где на-деялся стать профессиональным актером. Он убедил Анастасию, что им надо ехать вместе. Затем из ее писем Айрин узнала, что Гален, как говорится, слинял, когда работал над рекламными лентами для телевидения. Анастасия, которая мыла теперь голову уксусом и избегала солнца, двинулась к северу.

В документальных телефильмах о «детях-цветах» шестидесятих годов много кадров, где люди одеты, как Анастасия в Сан-Франциско. Куда девались и вамп, и английский школьник? Теперь на ней были сандалии на толстой деревянной подошве, длинное, «бабушкиного» фасона, платье из реденькой ткани старомодной расцветки и ярко-красная бархатная кепочка. Волосам курчавиться не возбранялось, даже наоборот, и они шапкой осеняли смугловатое, ненапудренное лицо. Ожерелья и перья имелись в экстравагантном изобилии, которое, однако, хорошо смотрелось.

— Вот здорово снова увидеться! — сказали обе почти одновременно, обнявшись и улыбаясь под удивленными и неприязненными взглядами пассажиров.

Вместе с Анастасией в аэропорт приехала молодая пара с ребенком. У девочки было длинное, санскритского происхождения имя, которое по-английски означало Блаженство. Молодого человека звали, тоже на санскритский лад, Спокойствием, а женщину — Тишиной. Трое взрослых легко и по малейшему поводу начинали хихикать, рассеянно крутя в пальцах серебряные ложечки, что висели на шее. Айрин не знала, как понять такое употребление ложек, и это возбуждало ее любопытство. Наконец-то, решила она, изобрели одинаковое украшение для обоих полов.

Рядом стоял автофургон, сиявший всеми цветами радуги, так что самая обычная поездка в нем ощущалась как нечто *красочное*. Взрослые вскоре стали декламировать и петь, ребенок брыкался и ворковал. Весело они миновали мост и свернули в Марин, куда Анастасия и ее друзья недавно переехали. Отсюда они часто «пуляжи» в Сан-Франциско на целый день.

— Айрин очень понравится Источнику, — сказала Тишина, но, возможно, то был голос Спокойствия.

— Конечно, понравится, — ответила Анастасия и, повернувшись, сжала руку Айрин. — Я им говорила, что ты самый контактный человек из всех моих знакомых. — И Айрин, которая всегда радовалась новым встречам и знакомствам, сразу же, хотя и молчаливо, с ней согласилась;

недаром на лице у нее было словно написано: «Неужели я вам не нравлюсь?» Неудача с провалившейся программой несколько не умалила свойственного ей от природы спасительного тщеславия.

— А кто такой Источник? — спросила она томно, потому что фургон уже наполнился сладким дымком «травки».

— Подождешь — увидишь;— таинственно отвечала Анастасия.

Они жили в большом ветхом доме на склоне холма. Просторные комнаты были полны света, воздуха и солнца. Всюду — индийские набивные коврики, раковины, цветные камешки, бумажные веера и соломенные циновки. Из окон открывался вид на залив, белопарусные яхты и предместье, расположенное на противоположном берегу.

— На что вы живете? — спросила Айрин, увидев буфет, набитый пакетами с воздушной кукурузой.

— Получаем талоны на еду и пособие по безработице,— ответила Анастасия, слегка пожав плечами. Это движение было очень знакомо по прежним временам. В нем Айрин почувствовало неудовольствие — и смирение. Безразличие и, внезапно, некий вызов.

Блаженство и ее родители удалились в смежную часть дома. Анастасия и Айрин уселись за кухонный стол.

— В других местах,— сказала Айрин, стараясь, чтобы голос звучал совершенно ровно,— размер пособия заведомо таков, что на него не прожить.

Анастасия наклонилась вперед и столь же бесстрастно ответила:

— Гораздо выгоднее быть на пособии в богатых районах, чем в бедных. Здесь богачи одеваются как мы, только лохмотьев побольше и, конечно, не так стильно, но они настолько богаты, что им приятно облегчать нашу бедственную участь.

Айрин с готовностью рассмеялась.

— Что с твоим преподаванием? — спросила Анастасия. Как многие знакомые и друзья, она никогда не читала проспекты, которые рассылали Айрин и ее коллеги, а в них

подробно говорилось о методах обучения пожилых и малограмотной и вовсе необразованной молодежи, «не способной к учению», как ее называли в учительской среде. Впрочем, так считало общество. В отличие от него Айрин и другие преподаватели говорили об этом в шутку: они еще никогда не встречали людей, совсем не способных к учению.

Минуту Айрин раздумывала, стоит ли просто ответить, что все в порядке, или начать рассказывать. В разговорах и литературных произведениях работа, которой она занималась, всегда кажется романтической и свидетельствует о стремлении к идеалам. Действительность, повседневная, будничная, выглядит иначе. Айрин прежде всего пришлось испытать невероятную летнюю жару на Юге, от которой просто мозги плавилась, и примириться с тем, что большинство учащихся — женщины, которым сильно за сорок, пятьдесят, а то и шестьдесят, могли посещать занятия одну — три недели за все время. В трейлере не было кондиционера, зато множество мух. Иногда на занятия являлись целой гурьбой, но люди, годами привыкавшие к роли пассивных зрителей в церкви, где от них требовалось только звучно возглашать «аминь», почти не могли активно участвовать в процессе обучения. Они как-то недоверчиво воспринимали все, что с ними происходило, сомневались даже в собственном житейском опыте. Пища, которую раздавал колледж — сосиски, свинина, бобы, — была плохого качества, салат желтый. Еще давали приторный лимонад, привлекавший множество moskitov. И над всем стоял запах откровенной бедности, тот самый запах, который, как надеялась Айрин, навсегда исчезнет из мира, — острый, горький и такой едкий, словно женщины мылись в кислоте.

Само преподавание приносило удовлетворение лишь иногда, когда учащиеся или учитель узнавали что-то новое. Но чаще казалось, что никто никогда ничему не научится. И в отчаянии Айрин показывала фильмы, потому что любые фильмы, о чем угодно, наверное, меньше пугали учениц, чем ее настойчивые призывы уразуметь тот факт, что их угнетают и как черных, и как женщин. Картины вроде

«Рождения нации»* вызывали немедленную горячую реакцию, а ответом на «Анну Лукасту», например, было подавленное, тревожное молчание. Во всяком случае сначала.

— Подвигается туго,— ответила Айрин, глядя, как Анастасия вставляет ситечко в кофейник, отмеривает ложкой кофе и заливает его кипятком. В кухонное окно с низко опущенной рамой ей было видно, как медленно поднимается к саду туман, и кошку, дремлющую на скале, и круглую керамическую вазу с травами на заднем крыльце. Дом дышал умиротворением, в нем было даже нечто призрачное.

— Ты мне писала о своей школе,— сказала Анастасия как можно равнодушнее, пока они медленно пили некрепкий черный кофе и жевали домашнее морковное печенье.

Анастасии никогда не нравилась одна черта характера Айрин, совершенно необязательная, по мнению Анастасии,— одержимость темной, оборотной стороной жизни. Однажды они уже обсуждали неспособность Анастасии проникнуться важностью общественных начинаний Айрин. Тогда Анастасия, пожав плечами, сказала: «Ты просто больна всем этим». Они засмеялись, но Анастасия поняла, что Айрин считает ее не способной на глубокое чувство, почему разговаривает с ней несколько пренебрежительно. Это потом сквозило и в письмах, но такое отношение избавляло Анастасию от штурма и натиска гражданской активности Айрин, и она не жаловалась и принимала как должное связанную с этим неглубокость отношений.

Айрин и в голову не приходило, что Анастасия способна помочь ей в работе, и в колледже дружба между ними основывалась главным образом на общей любви к киношкам и джазу. И хотя Айрин как будто добродушно принимала беззаботный стиль жизни Анастасии и была уверена, что ее своеобразная манера одеваться как нельзя лучше передает состояние ее ума, в душе она презирала Анастасию как человека, ведущего почти никчемное существование.

* Фильм Дж. Гриффина, поставленный по роману писателя-южанина, реакционера и расиста, Т. Диксона «Человек из Клана».

— Дело прекратилось из-за нехватки фондов,— сказала Айрин.

— А кто отпускал эти фонды? — вежливо поинтересовалась Анастасия. Айрин вздохнула и стремительно начала:

— Вначале *не было* фондов*.— Обе женщины невольно усмехнулись, услышав во фразе нечто знакомое: обе в детстве усердно посещали церковь.

— Вначале не было фондов,— повторила Айрин.— Женщины хотели научиться читать и писать и упрашивали, а иногда стыдили молодых женщин, и те начинали их учить. Затем была дотация от правительства для таких, как я, приехавших из других городов. Но все несчастье с этими дерьмовыми фондами в том, что они так ненадежны... А тут еще война во Вьетнаме, деньги нужны на бомбы, и рассчитывать, что правительство позаботится о нескольких десятках старух негритянок, которые верят в образование, уже не приходится.

— Кажется, ты писала, что среди женщин есть белые,— сказала Анастасия, опершись подбородком на руку и пристально глядя на Айрин. Ей нравилось смотреть на Айрин, ей нравилось иногда просто яростное выражение этих карих глаз, и ей очень нравилась глубокая, звучная темнота ее кожи, в чем она никогда не осмеливалась признаться.

— О да,— ответила Айрин,— есть и белые, трое-четверо.— Когда белые опускались ниже официальной черты бедности (и при условии, конечно, что они не были клансменами или кем-нибудь похуже, а это случалось сплошь и рядом), Айрин уже не воспринимала их как белых. Впрочем, она не давала себе труда как следует продумать свое отношение к ним, как и другие свои так называемые политические убеждения. Она просто не решалась, что говорило не в ее пользу. Но если бы она задумалась над такими вопросами как следует, тогда ей пришлось бы поразмыслить и над тем, что происходит с белыми бедняками, когда (если вообще такое бывает) они становятся богаче (и как это она может тратить

* «В начале было Слово...» (Евангелие от Иоанна).

свое время на белых, которые вот-вот разбогатеют?), и что происходит с черными, когда они становятся средним классом. Она уже с презрением относилась к черной буржуазии, которую считала образцом посредственности, посредственности до мозга костей, и ненавидела ее. Но она сама теперь принадлежала к этому классу, хотя и номинально.

Если она начинала размышлять над этими вопросами, то волей-неволей приходилось задумываться о собственном месте в обществе, и как понять, что она тоже хочет успеха во всем, за что берется (в своих способностях и особенно энергии она не сомневалась), и в то же время опасается, что может обуржуазиться. Ей так нравились радости жизни, которыми располагал средний класс, и однако мысль, что ради них надо успокоиться, стать солидной и осесть, внушала Айрин отвращение. (Вот так же она любила джаз — за то, что он внушает буржуазии тревогу, а «Степной волк» Гессе владел ее воображением, как в студенческие годы.)

— А разве женщины не могли снова обучаться как прежде, когда фондов не было? — спросила Анастасия.

— Со временем, наверное, смогли бы, — ответила Айрин. — Не знаю. Но с ними, и со мной тоже, произошла забавная перемена из-за этих фондов. Сначала, когда их выделили, мы очень воодушевились и даже поверили, что кому-то, из округа Колумбия*, небезразлично, как живут эти женщины сейчас и что в прежние времена их сознательно обкрадывали. Женщины тоже поверили в чью-то заботу и принялись за учебу. Но субсидирование кончилось так же внезапно, как и началось. А у нас уже наметился прогресс. Мы немного продвинулись вперед, и вдруг нам дали подножку. Вернуться к прежнему порядку значило бы признать себя побежденными. — Рассказывая, Айрин вспоминала об одной из своих учениц, которая вызывала особенное сочувствие и которая сопротивлялась попыткам научить ее читать; потому что в текстах было много тяжелого и неприятного. После первого же дня занятий Айрин пришлось уговаривать женщину при-

* Имеется в виду вашингтонская администрация (Вашингтон расположен в округе Колумбия).

ти снова. Но в первый день женщина — ее звали Фаня — выразила самое страстное желание научиться читать. Она была полная, с кожей орехового цвета. Волосы, заплетенные в косы, укладывала пучком на затылке, в ушах блестели золотые сережки колечками. Женщина крепко зажмурилась — так болезненно она смущалась своего невежества, а пока в весьма краткой и незамысловатой форме излагала это обстоятельство, ухитрилась расплести косы, и сережки запутались в волосах.

Как многое в жизни, что по сути своей трагично, сцена производила комическое впечатление. Поняв, насколько нелепо она должна выглядеть в глазах Айрин, да и всего класса, Фаня залилась темным румянцем, издав удивленный, короткий смешок. Она смеялась над самой собой — Айрин не могла забыть ни ее взгляда, ни этого смешка.

Айрин довольно успешно учила читать, используя газетные тексты. Она обнаружила, что люди, совсем не знающие грамоты, быстрее схватывают смысл читаемого, если речь идет о знакомых предметах и событиях; часто они не прочитывали, а узнавали некоторые слова, например, названия городов, магазинов и так далее — то, что было на слуху; каждый раз, «читая» таким образом, они очень радовались.

Для Фани Айрин выбрала едва ли не самую безобидную газетную заметку о растущей механизации сельского труда, той самой работы, которая была хорошо знакома большинству ее учениц. Она думала, что они легко усвоят такие словосочетания, как «распылитель удобрений», «автоматический междурядник», «хлопкоуборочная машина». Конечно, это были длинные слова, но женщины слышали их ежедневно, проходя мимо плантаций, где уже работали новые машины.

Айрин наскоро пробежала глазами короткую хроникальную заметку, чтобы в случае необходимости убрать то, что может неприятно задеть. Она уже знала, как пугают этих будущих читателей любые неожиданности.

«Сообщение из Джорджии: компетентные источники из министерства сельского хозяйства предсказывают, что менее чем за десять лет традиционный способ земледелия, су-

ществовавший на памяти многих поколений, бесследно исчезнет. Широкое распространение распылителей удобрений, автоматических междурядников и хлопкоуборочных машин практически уничтожит потребность в ручном труде. Тысячи фермеров-арендаторов, возделывающих землю дедовским способом, уже сейчас не у дел. Цены на зерновые, а также бобы и арахис будут возрастать. Ожидается, что автоматизация труда увеличит прибыли и стимулирует развитие других отраслей промышленности, которые начинают перемещаться на Юг в связи с избытком здесь энергетических ресурсов и в окружающей среде, и в сфере, не охваченной профсоюзами рабочей силы».

Фаня заикалась, задыхалась, дергала себя за сережки, тербила косы и в конце концов объявила, что отказывается учиться читать про то, как единственная работа, которую она умеет делать, скоро будет уничтожена.

Пока Айрин рассказывала, Анастасия поглаживала яркую салфетку из соломки: каждый раз, когда она говорила с кем-нибудь из негров, мир казался отягченным неразрешимыми проблемами.

— Неужели ты не знаешь, что ничего нельзя изменить к лучшему? — спросила Анастасия. — Ничто нельзя изменить. Так говорит Источник.

Айрин молча ждала, что последует дальше. Анастасия, по-видимому, воодушевилась.

— Источник опять помирил меня с родными. Ты не поверишь, но мы переписываемся по крайней мере раз в неделю. Подожди, я сейчас покажу... — Анастасия встала и вышла в другую комнату. Вернулась она со связкой писем. Вытащив одно из пачки и разгладив страницы на столе, она приготовилась было читать вслух, но поймала иронический взгляд Айрин и молча подвинула к ней письмо. Айрин бегло его просмотрела.

Когда-то родители Анастасии были баптистами. Теперь они стали «свидетелями Иеговы». В письме очень много говорилось о том, как неизменно и горячо они любят Анастасию и еще больше — как постоянно молят Иегову о ее

благополучии. Из письма следовало, что молитвы в Арканзасе возносятся каждый час. У Айрин просто волосы встали дыбом, но она заставила себя сохранять спокойствие.

Только раз она виделась с семьей Анастасии, и ей всегда казалось, что Анастасия нарочно подстроила эту встречу. Тогда Айрин некоторое время жила в ужасных трущобах округа Колумбия и, следовательно, в глазах тех знакомых, которые считали бедность чем-то вроде заразной болезни, представляла образованную, но безумную в своем поведении часть люмпен-пролетариата. Родители Анастасии приехали в длиннейшем «линкольн-континентале» розового цвета. Отец и братья храбро проделали усыпанный отбросами путь к дому, где она жила, но мать (подняв стекла и спустив занавески) ждала, пока Анастасию и Айрин доставят к машине. Ее серые глаза с выражением ужаса вонзились в глаза Айрин. «Почему? Зачем это?» — спрашивали они, пока губы заученно говорили, как она рада, что вот наконец-то пришлось познакомиться. «Чего она боится?» — спросила тогда Айрин у Анастасии. «А чего она *не* боится?» — ответила Анастасия.

Братья Анастасии — кожа у них была янтарно-желтая, волосы курчавые — держались развинченно и говорили на каком-то непонятном, полном скрытой угрозы неязыке, как свойственно мальчикам их возраста. Одному было пятнадцать, другому — шестнадцать лет. У отца кожа была оливкового цвета, волосы в мелких завитках. В нем чувствовалось такое внутреннее, напряженное беспокойство, такая мрачность духа, что, взглянув на него, нельзя было не содрогнуться. Улыбка на его лице казалась противоестественной. И вот отец писал ныне о любви к богу, о божеском милосердии и всепрощении, а также о том, как он счастлив, что дочь, в душе всегда «девушка благонравная», наконец-то вступила на «стезю смирения». Только на этой стезе можно обрести вечное спокойствие душевное в мире, который грядет.

«Смирение,— подумала Айрин.— Вечное спокойствие душевное. Святоша дерьмовый».

— Я тоже хотела делать добро,— сказала Анастасия и засмеялась,— но, конечно, все эти добрые поступки хороши лишь для нас самих и ни для кого больше. Никто и никому еще не сделал добра. Добро делают только себе. Альтруизма не существует. Добрые поступки бессмысленны.

— Постой,— ответила Айрин и пристукнула кулаком письмо, лежавшее на коленке.— Я, например, верю в гражданское движение, в коллективное действие, которое может победить в будущем, и так далее. И в ответственность взрослых за ребенка.

— Люди должны понять,— заговорила Анастасия очень быстро, но как бы во сне, словно зажмурившись, чем вдруг напомнила ей Фаню,— люди должны понять: они страдают потому, что сами выбрали страдание. Если там, где ты есть, тебе плохо, уезжай.

Ребенок проснулся и теперь взобрался Айрин на руки. От его густых волос приятно пахло благовониями. Крошечные пальчики исследовали ее нос.

— Нельзя, например, бросить ребенка,— сказала Айрин.

— Мужчины это делают постоянно.

— Но женщины не бросают, потому что не хотят поступать, как мужчины.

— А мужчины бросают, потому что не хотят поступать, как женщины, эта половина рода человеческого никогда не понимала, что тоже имеет право выбирать.

— Но кто же позаботится о детях?

— Кто-нибудь да позаботится,— ответила Анастасия.— А может, и никто.— И она в упор взглянула на Айрин.— Но так или иначе — безразлично.— И она пожала плечами.— Вот в чем суть дела.

В комнату вошла мать ребенка, розовая и пухлая, как новое махровое полотенце. Ее голубые глаза были какой-то странной, стреловидной формы. Речь изобличала совершенную преданность духовным поискам, отчего жесткое нью-йоркское произношение словно тонуло в патоке сладкоречия, так что ушам было тошно.

— Красивое у вас дитя,— сказала Айрин, ощипывая

гроздь винограда и попеременно сунув в рот ягоды то себе, то ребенку.

— Спасибо,— проворковала мать,— но мы собираемся отдать ее Анастасии. Она так ее любит, она мамочка просто чудная. А мы уезжаем в Южную Америку.

— Когда? — спросила Айрин.

Женщина пожала плечами:

— Да как-нибудь.

— Вам тяжело было решиться на этот шаг? — поинтересовалась Айрин.

— Источник учит, что дети принадлежат всем и каждому, всему миру.

— И никому в особенности?

Женщина пропела «совершенно верно» и выплыла из комнаты.

— Мы хотим познакомить вас с Источником,— сказал немедленно появившийся Спокойствие и стал осматривать виноградную гроздь. Он был худ как скелет и очень высок, гораздо выше холодильника. Длинные волосы цвета соломы были завязаны ярко-зеленой лентой, наподобие конского хвоста. По носу шествовало пурпурное родимое пятно, формой напоминающее крошечную ступню.

Источник жил в большом многоквартирном доме совсем рядом. В квартиру их ввела одна из его дочерей, худенькая девочка-подросток с печальными глазами, длинными и блестящими черными волосами, оттеняющими коричневую кожу лица с нездоровым, желтоватым отливом. Впустив их, она потупилась.

Анастасия, Тишина, Спокойствие вместе с Блаженством принесли дары — вино и деньги — и возложили их на столик у ног Источника. Сам он восседал в позе лотоса на овальной тахте у стены. В грязной комнате больше не было мебели, и гостям предложили подушки на полу. Шаркая подошвами, вошла вторая дочь, с такими же печальными глазами, как у первой, и, разлив вино в стаканы, подала их гостям. Она принесла с собой курительную палочку, и вскоре комната наполнилась дымком, воздух стал тяжелым и приторным.

Вошла третья дочь и встала слева от отца. Время от времени, когда ему что-нибудь требовалось, он посылал ее мановениями руки в другие комнаты.

Лицо Источника было коричневатого цвета, с серым оттенком. Посверкивали темные глаза. Седеющие волосы, разделенные посередине пробором, падали на плечи. Одет он был во все белое и, говоря, то прикрывал краем одеяния босые ноги, то вновь открывал их. Движение было медленное, ритмичное и действовало на зрителя расслабляюще и даже гипнотически.

Айрин твердо решила не поддаваться предвзятости и внимала, придав лицу выражение жадного интереса и восторженного предвкушения. Однако голос Источника был несколько заунывен и монотонен, что подмывало возразить ему.

Он поведал, что, когда встретился с Анастасией, которую называл Умиротворением, она была точь-в-точь Кэтлин Кливер*, «одета вся, совершенно, абсолютно в черное (у него была манера довольно часто употреблять тройные синонимы). Волосы у нее были как яростная, дикая, неукротимая поросль. А кожа — бледная, бледная, бледная. Прямо борец, понимаете?» Он засмеялся, пальцы левой руки затрепетали у самого носа, и стоявшая рядом печальноокая дочь поправила подушку у него за спиной.

Анастасия тоже смеялась, теребя пальцами ложку на шее. Время от времени она чихала и терла покрасневшие, слезящиеся глаза.

— Понимаете,— пожав плечами, сказала она,— я ведь считала себя черной.

— Все мы — ничто,— ответил Источник словно непонятливому ребенку, и Анастасия снова пожала плечами.

Источник что-то резко крикнул. В кухне послышался шорох, вошли две другие дочери и встали рядом с той, что дежурила при тахте.

— Все мы — ничто,— повторил Источник, и одна из дочерей начала записывать его слова. Сквозь реденькое измя-

* Член организации «Черные мусульмане».

тое сари было явно видно, что она беременна.

— Мне приходилось бывать в Африке, в Уганде,— продолжал Источник,— и африканцы хотели быть черными, черными, черными. Они так все время и твердили: «Мы черные, черные, черные». Но это потому, что они отсталый народ. Понимаете? Индусы не расхаживают, твердя, что они коричневые, коричневые, коричневые, и китайцы тоже не говорят, что они желтые, желтые, желтые.

— Нет,— сказала Айрин,— они просто говорят, что они китайцы, китайцы, китайцы или индусы, индусы, индусы.

Однако говорить, когда говорил Источник, было не принято, и он невозмутимо продолжал, словно не заметив вторжения Айрин:

— Африканцы — странные люди. Я вам расскажу историю, действительный случай из жизни. Один африканец...

Это был древний расистский анекдот. Таких Айрин не слышала с детства. Анекдотический африканец был настолько глуп, ленив, так не хотел никаких перемен к лучшему, что был просто мечтой колониста. Умиротворение, Тишина и Спокойствие (которые вообще-то, под воздействием наркотиков, реагировали довольно вяло) и даже ребенок захихикали.

— Куда же ты? — спросила Умиротворение, потому что Айрин встала.

— Я подожду тебя на улице,— ответила Айрин.

На обратном пути Тишина и Спокойствие, перебивая друг друга, говорили об «эго» и о смирении и что они, с тех пор как познакомились с Источником, расстались с первым и в избытке обрели второе. Они намекали, что и Айрин могла бы измениться к лучшему.

— А что, его беременная дочь замужем? — холодно осведомилась Айрин.

— А почему она должна быть замужем? — переспросил Спокойствие.

— У нее ведь есть Источник,— фыркнула Тишина.

Вот этого Айрин и опасалась, но почла за лучшее переменить тему.

— Кто обеспечивает Источника всем необходимым? — поинтересовалась она.

— Мы все, — отвечали они горделиво. — Его жизнь слишком драгоценна, чтобы тратить ее на добывание хлеба насущного. — И, помолчав, Умиротворение пояснила: — Он учитель, как и ты. Его работа — *наставлять*.

— Мне жаль, — сказала Анастасия на следующее утро, — но мы решили, что тебе лучше уехать.

— Что? — изумилась Айрин.

— Ты не одобряешь нашего образа жизни.

— Не поняла.

— Послушай, — сказала Анастасия, — я наконец-то собрала себя по кусочкам, и все благодаря Источнику. Я понимаю, что я — ничто. Вот это Источник и тебе хотел втолковать. Ты все еще считаешь себя личностью, будто ты что-то значишь. Твои африканцы тоже так считают, но они ошибаются, — терпеливо объясняла Анастасия, — но если все мы — ничто, если каждый из нас — никто, то и унижить никого нельзя.

— Но он же расист! Он обращается с дочерьми как с рабынями.

— Он *выше* всего этого. А ты *ничего* не понимаешь, совсем *ничего*. Ну, послушай, если все мы — ничто, значит, все мы равны. Это так ясно, не правда ли?

— Ясно, разумеется, но так не бывает.

— До своего кризиса я тоже ничего не понимала. Я хотела быть вроде Кэтлин Кливер. Однажды я видела ее на одной вечеринке в Нью-Йорке. У нее были прямые светлые, точь-в-точь как у меня, волосы, она сидела в уголке и целый вечер молчала. Не сказала ни единого слова. Говорили только мужчины. Спустя несколько месяцев все вдруг переменялось. Теперь говорила она, потому что мужчины были мертвы или за решеткой. Она ругалась нехорошими словами, носила сапоги и темные очки, одевалась во все черное и позировала фотокорреспондентам с револьвером в руке. И я делала то же самое. Я даже завела себе любовника, негра-левака,

который бил меня и запрещал разговаривать с «чужими», даже если это были мои друзья. Но приехали из Арканзаса родители и забрали меня. Заперли в «санатории», и прошло много времени, прежде чем я поняла их точку зрения.

Когда я была маленькая, мне очень хотелось все переменить. И потом, когда начались сидячие забастовки, я тоже хотела участвовать. Я была за интеграцию в школах и кафе. Но я была такая *светлокожая* и даже понятия не имела, что у меня тоже курчавые волосы, — мать начала их выпрямлять, когда мне было три года, ей-богу. Но цвет моей кожи ей проблем не доставлял. (Господи, до чего же мне надоела эта *цветная* проблема!) Но тогда у меня еще не было сложившейся концепции бытия. А мои родители уже обрели истину, вот почему им так нравится Источник. И мне тоже. Они знают, что все мы — ничто, и цвет кожи — просто иллюзия, и все в мире неизменно. Источник учит, что ничего нельзя переменить, что все страдания — от нашей собственной невзыскательности к себе и что величайшее благо жизни — равнодушие к ней, в этом и состоит наслаждение, если оно вообще возможно.

— Благо жизни — в равнодушии?

— И родители поручили меня заботам Источника. Они помогают его содержать, присылают деньги. И это окупается.

Голодный ребенок плакал, ползая по полу. Айрин подошла к нему и взяла было на руки, но в комнату ворвалась мать и выхватила девочку:

— Мы стараемся оберегать ее от эманаций зла.

— Сука,— выругалась Айрин едва слышно и вновь повернулась к Анастасии, которая так и вибрировала от сознания своей правоты.

— Анастасия,— сказала ей Айрин,— я приехала не для того, чтобы осуждать твой образ жизни. Я проделала этот длинный путь потому, что моя собственная жизнь разбита вдребезги. Понимаешь? — Айрин знала, что насчет Источника она права, но разве в этом дело? — подумала она.

— Возможно, относительно Источника я ошибаюсь. Может быть, ты права, что его защищаешь, но, господи, сейчас

не самый подходящий момент в моей жизни, чтобы вот так, сразу, кинуться меня наставлять. Может быть, я отнеслась к нему с предубеждением, заранее настроилась против него, и он это почувствовал... — Она еще что-то бормотала в том же роде, но Анастасия не слушала ее. И Айрин представила себе, как глубокой ночью Умиротворение, Тишина и Спокойствие отрепетировали заранее всю эту сцену. И только Блаженство с самого начала радовалась ее приезду.

— Твоя жизнь — дело твоих собственных рук, — ответила Анастасия с каменным выражением лица.

— Но это же абсурд, совсем не у каждого есть возможность устроить свою жизнь как хочется. Некоторые живут так, как хочется другим. Да большинство! Женщины, которых я учила, вовсе не желали быть неграмотными, да и бедными тоже.

— Но ведь это ты пожелала учить таких людей? Зачем же ты жалуешься?

— Каких *таких* людей?

— Ну, несчастных, лишенных надежды в своем нынешнем воплощении.

Айрин засмеялась:

— Ты вроде Киссинджера, который как-то сказал, что наш век — не для африканцев.

Но Анастасия не улыбнулась.

— Я вовсе не собиралась тебе жаловаться, — сказала Айрин, чувствуя унижение при одной только мысли о такой возможности.

— Если тебе где-нибудь плохо — уезжай. — Анастасия сказала это убежденно и, как показалось Айрин, весьма самодовольно.

— Ну, а если страдать заставляют условия существования? — Вместо ответа Анастасия воздела кверху ложку, висевшую на шее...

С тех пор все мы прожили немало лет, прошли годы и для Айрин, конечно, и вот однажды, очутившись на Аляске, она к удивлению своему обнаружила, что говорит о методах

обучения с группой преподавателей, в которой были индейки и белые.

— Как только я узнала, что ты приедешь, — рассказывала Анастасия, жившая теперь неподалеку от Гавани, — я сразу сказала своему: «Нет, я должна с ней повидаться, это старый друг».

Они сидели в баре, в солнечные дни похвальному великолепному виду на гору Маккинли, до которой было сто километров. Увы, солнечные дни бывали здесь, очевидно, нечасто, и Айрин видела не вершины легендарных аляскинских гор, а их подножия. Но и они производили впечатление.

— Надеюсь, ты мне простила, что я тебя тогда выгнала, — сказала Анастасия.

— Ну конечно, — ответила Айрин. Она разглядывала людей в баре. Ей нравилась Аляска. Ей нравилось, что у людей здесь такой вид, будто они приехали сюда месяц назад. Однако сырая, хотя и не холодная погода заставляла ее мечтать о солнце, печак и более непроницаемой для сырости одежде, чем та, что она захватила с собой.

Анастасия увела ее прямо со сцены, где Айрин сидела рядом с местной жительницей, индейкой, которая рассказывала, что у коренных аляскинцев, начинающих помногу читать, слабеет зрение от типографского шрифта.

— Коренные жители всегда считали стопроцентное зрение чем-то само собой разумеющимся, — говорила женщина. — Затем они стали читать. Смотреть телевизор. Ходить в магазины, где все завернуто в целлофан с надписями, которые тоже надо читать. Теперь, чтобы вообще видеть, все нуждаются в очках. — Сама женщина была в огромных очках с ярко-красными стеклами, которые обычно носят летчики. Она вздернула их на лоб и, мигая, смотрела на присутствующих. Наступила долгая пауза, в которую канула утвердительная интонация ее заявления, женщина вся словно ушла в себя, и там, внутри, ее категоричность свернулась клубочком и сникла. — Существует, очевидно, еще и скрытое недоверие к процессу чтения, — продолжала она тихо, — который дарует знание и одновременно может лишить способности

видеть вообще. Вот что лежит в основе наших проблем, когда читают люди уже пожилые.

Однако в этом Айрин не надо было убеждать.

Анастасия стояла рядом с Айрин, пока местные преподавательницы обменивались с ней теплыми рукопожатиями. — Так было приятно с вами познакомиться, — говорили они Айрин, словно долго-долго ожидали ее приезда и вот наконец она явилась. — Мы так рады, что вы проделали столь длинный путь из нижних сорока восьми*.

— Когда я узнала, что ты приедешь и здесь назначена конференция по проблемам местного населения, я подумала, что буду единственной белой. Вижу, что ошиблась.

Айрин выслушала это заявление и глазом не моргнув.

И вот теперь они сидели у стойки бара, с его знаменитым, но отсутствующим видом на гору Маккинли. После дискуссии Айрин чувствовала себя так, словно ее насухо выжали. Мысль о женщине в авиационных очках угнетала душу. Айрин прикончила стаканчик ирландского виски и заказала второй. Она глядела на Анастасию, которая теперь заплетала волосы в косы и укладывала их в сетку из тонких кожаных ремешков, украшенную перьями. Глаза Анастасии буквально плясали от возбуждения. Айрин смотрела, и вдруг ей показалось, что Анастасия становится все меньше, меньше, меньше, что ее лицо расплывается, и вот уже это бледное пятно, едва различимое, как далекий пейзаж. Но это было мгновенное и весьма неуместное наваждение, и Айрин сглотнула его вместе с виски.

— Итак, — сказала она, — все мы — ничто.

— Я слышала, что ты вышла замуж и счастлива, — сказала Анастасия, оставив слова Айрин без внимания.

— Мы были счастливы. Я почти уверена, что были. Знаешь, счастье способно заставить уверовать в него. Тем не менее он меня бросил.

— А мне нравится быть белой, — сказала Анастасия, подавшись вперед и скорчив гримаску, означающую безудержный комический восторг. — Спроси почему.

* Аляска — самый «верхний» штат на географической карте.

— Почему? — спросила Айрин.

— Потому что, когда я была черной, я не обладала чувством юмора.— Она засмеялась, и теперь ее забавное лицо и смех гармонировали.

— Не могу с тобой не согласиться,— ответила Айрин.— А кроме того, сходить за белую — это жить такой *полноцветной* жизнью.

Она, впрочем, искренно надеялась, что все эти проблемы уже в прошлом.

— Нет, нет,— возразила Анастасия,— это как в «Имитации жизни», и помнишь, был еще один такой нудный фильм «Розоватый»? И это совсем не похоже на романы Джесси Фосет или Неллы Ларсен*, в которых быть белой так важно, чтобы выбрать платье к лицу. Были сначала, конечно, некие обертоны из «Автобиографии бывшего цветного человека»**, ну, знаешь, эти рассуждения, может ли потенциально великая черная быть удовлетворена, если вдруг превратится в самую обыкновенную белую. Но все это прошло.— Она засмеялась.— Как бы то ни было, я ведь еще здесь, не перешла в мир иной. Просто я устала соответствовать чужим мнениям.

Айрин, глядя в упор на Анастасию, испытывала самое сложное чувство. Да, эти глаза принадлежали белой женщине. Что бы это значило?

— Мне нравилась замужняя жизнь,— сказала она, глядя в стакан.— Наконец-то я чувствовала себя спокойной и могла оглядеться вокруг без паники.— Она пожала плечами. Все годы своего замужества она редко испытывала что-либо, хоть отдаленно напоминающее панику, и ей иногда казалось, будто она все это время проспала. Поэтому, если бы ее спросили, что она делала между 1965-м и 1968 годами, она, очевидно, сказала бы, что эти три года пролетели как один день и что в этот единственный день она получила от знакомого

* Джесси Фосет, Нелла Ларсен — негритянские буржуазные писательницы.

** Роман негритянского писателя Джона Уэлдена Джонсона. Будучи светложимым мулатом, Джонсон долгое время жил «как белый». В 30-е годы примкнул к освободительному негритянскому движению.

приглашение на рыбную ловлю и отклонила его.

— Да, точно,— ответила Анастасия.— Когда никого нет, ты словно на ветру стоишь. Правда? А когда кто-то есть, то по крайней мере один бок прикрыт. Конечно, можно опять вдруг удариться в панику, но все же с одного бока есть защита.— Ей хотелось подчеркнуть, что все сказанное особенно справедливо, если речь идет о расовых взаимоотношениях. Что наконец-то, обретя возможность не заботиться об этой проблеме, она может без помехи думать о других неприятностях, которые угрожают другим сторонам ее личности. Но Айрин, конечно, возразила бы, что она вовсе не разделалась с расовой проблемой, а просто рассматривает ее с другой стороны и это позволяет спокойно существовать. Негры, не обладавшие опытом Айрин, редко были способны по достоинству оценить ее позицию в этом вопросе, и хотя она понимала их, однако считала, что эта неспособность свидетельствует об ограниченности.

— А как поживают Источник, Тишина и Спокойствие, Блаженство и компания, а заодно Южная Америка? Ребенок с тобой? — спросила Айрин, оглядывая бар, словно ожидая увидеть Блаженство, ползущую под столами к их ногам.

В глазах Анастасии мелькнуло раздражение. А щеки, заметила Айрин, отвисают, когда она улыбается. Впрочем, это было не хуже тех убытков, которые время причинило лицу самой Айрин.

Теперь Анастасия разделяла, очевидно, мнение Май Таис, что Аляска и Гавайи очень похожи своей предельной удаленностью от остальных сорока восьми штатов с их проблемами. И она досадливо ответила, приложившись к своему чересчур сдобренному пряностями питью (ну просто масло масляное): — Я схлопотала постоянный тик, у меня все время теперь дрожит веко, он начался, когда я жила в Сан-Франциско. Иногда как будто перестает, но потом опять все сначала. Понаблюдай теперь, когда я сказала, обязательно заметишь.— И действительно, нижнее веко правого глаза начало подергиваться.

— Ух, *постылый*,— сказала Анастасия, прихлопывая ла-

донью глаз.— Не знаю, где они теперь. Возможно, уехали в Южную Америку, вполне вероятно. И я не знаю, что стало с Блаженством.

И хихикнула.

— Что стало с блаженством,— повторила Айрин и тоже хихикнула.— Они дружно крикнули, пристукнули стаканчиками и затопали ногами. Заботливая официантка осведомилась, не надо ли чего.

— Узнайте, что стало с блаженством,— отвечали они смеясь и заказали по двойной.

— Через пару лет я опять начала разваливаться,— рассказывала Анастасия.— Появился лицевой тик, вечная простуда и эта, как ее, диаррея. Ты тогда бы на меня посмотрела! Волосы как медная проволока, а лицо, что твоя Индонезия, все в волканах. Даже зубы начали шататься. Что ж это такое, ведь я испытываю умиротворение, думала я, откуда эти напасти? Я уж не помнила, когда крепко спала ночь напролет.

Но я не хотела расставаться с Источником, о нет! Знаешь, немного самого обыкновенного секса, но вдоволь наркотиков, чуть-чуть музыки и кто-то более значительный, чем ты, между тобой и богом, и внешний мир, за этим узко очерченным кругом, перестает интересоваться.

— *Гм-м-м*,— ответила на это Айрин.

— Оставить Источника? Да ни за что на свете. Во всяком случае, пока жива, просто и разговора не может быть. Приехали родители — такие же ненормальные, как и я, но они все же забеспокоились, потому что я стала сама с собой разговаривать и останавливала прохожих на улице.— Она пожала плечами.— Ну и обратно в Арканзас. Несколько месяцев домашнего ареста, никаких наркотиков, церковная музыка (знаешь, ведь «свидетели Иеговы» рады перекричать баптистов) и сознание, что ни черные, ни белые в Арканзасе не знают, как с нами быть. Сознание, что мы не настоящие. И что из-за двойной игры родителей мы все чокнутые. Они приходили в ужас, когда я дружила с неграми-бедняками,

они высказывали разочарование в моем вкусе, когда мои друзья принадлежали к среднему классу, но были черными, и были уязвлены и завидовали, если я дружила с белыми. Откуда же мне было взять национальной гордости?

Я вышла замуж за первого встречного, который контрактировался на строительство аляскинского газопровода, нашла себе здесь работу. И развелась. *Voilà**.

Айрин вспомнила Фаню, чей интерес к чтению удалось в конце концов восстановить с помощью невольничьей были** о негритянке, так похожей, по ее мнению, на нее самое, что она читала эту быль с не меньшим воодушевлением, чем Анастасия сейчас рассказывала.

«Твоя мать была белая? Да, она была очень светлокожая, но недостаточно все-таки, чтобы белые считали ее своей. Волосы у нее были длинные, но чуточку волнистые.

А твои дети тоже были мулатами?

Нет, сэр, они были совсем белые. Они выглядели совершенно как он... а потом он сказал, что скоро умрет, и еще сказал, что, если я пообещаю ему уехать в Нью-Йорк, он отпустит меня и детей на свободу. Он сказал, что никто не догадается, что я цветная, если я сама об этом не проговорюсь».

— Я рассказывала тебе когда-нибудь о Фане Эванс? — спросила Айрин.— Нет? Это одна из женщин, которых я пыталась научить читать газеты, что было очень нелегко, так как она отказывалась учиться читать, если в тексте говорилось о чем-нибудь неприятном. При условии, что мир таков, как он есть, приятные новости было найти довольно сложно.

— О да, кажется, что-то такое припоминаю,— ответила Анастасия, чтобы поддержать разговор. Она ничего такого не помнила.— Но погоди, давай поговорим о том, что сейчас. Человек, с которым я живу, индеец, алеут, я говорила об этом?

— Наверное, хотела рассказать,— отвечала Айрин,—

* Здесь: вот таким образом (*франц.*).

** Особый мемуарный жанр XIX века, повествовавший о злоключениях невольников на Юге, которые потом, с помощью аболиционистов, бежали на Север.

но, пожалуйста, избавь нас от саги о сексуальном превосходстве, прямо женской нежности и могучих бицепсах.

— А он такой,— радостно отвечала Анастасия,— но я не стану об этом.

— Спасибо,— сказала Айрин.

— Мы живем в маленьком рыбацьем поселке, с одной-единственной фабричкой, где коптят лосося. И все тамошние женщины умеют это делать. Но как белая,— она усмехнулась, взглянув через стол на Айрин, которую донимала изжога,— или лучше сказать «не местная»? Ну, как бы то ни было, они не ожидали, что я тоже сумею коптить лосося вместе с ними. И когда я занялась этим делом, они были в восторге. А я словно заново родилась. Они об этом еще не догадываются, но скоро я стану совсем как они.— Анастасия умолкла.— Да, наверное, Источник действительно был фашист. Только фашист мог говорить, что все люди — ничто. Нет, каждый из нас — нечто. Некто. И я не могла жить так, словно цвет кожи меня не волнует. Полагаю, *никто* в Америке не может быть к этому безразличен. В том-то и заключается драматизм положения. И, однако, в моем случае, с моим цветом кожи я и на черную не тянула. И всегда за две секунды удовольствия надо было благодарить два часа. Всего-навсего за две секунды.

— Пóнято,— сказала Айрин.

Теперь она была настолько пьяна, что понимала Анастасию мгновенно, словно та думала ее головой. Но, понимая, сразу же все забывала.

— Так расскажи мне про Фаню. Кто такая? Хочу все знать про Фаню,— сказала Анастасия.

— Нет,— сказала Айрин,— я слишком пьяна.

— Я закажу кофе,— сказала Анастасия.— И мне нужно в туалет.

— И мне,— ответила Айрин, живот которой бунтовал в тисках колготок с тугим эластичным верхом.

Когда они вернулись, кофейник в виде оленьей головы был на столе. Айрин все еще терла лицо и шею мокрым

бумажным полотенцем, Анастасия тем временем вынула из сумочки маленькую коробочку с медом. Сахара она не употребляла. Минут десять они молча пили крепкий кофе. Постепенно в головах начало проясняться.

Только сейчас Айрин слышала голоса людей, сидевших прямо за спиной. «Пятнадцать лет назад,— говорил пожилой мужчина,— им не позволялось бывать в таких местах, как это». «Собакам, эскимосам и индейцам вход запрещен». — «Это ужасно», — ответила женщина. «Особенно если учесть, что это их страна», — насмешливо ответил ей молодой человек. «Но с тех пор мы стали сознательнее», — наставительно объяснила молодая женщина. «Ну, разумеется», — ответил молодой человек, — как только женщина может говорить такие глупости? Ты, конечно, стала сознательнее, но при этом ты настолько тупа, что думаешь, будто это тебе нравится». Но тут заговорила женщина постарше, которая в интересах мира переменяла тему: «Неужели Аляска больше Техаса?» «Да побольше будет», — горделиво ответил пожилой мужчина.

Все, что Айрин прежде знала об Аляске, она вычитала из романа Эдны Фербер*. Теперь она узнала, что здесь якобы растут гигантский турнепс, громадные арбузы и марихуана, которую законным образом выращивают, собирают и употребляют, и что в здешние жаркие и очень плодоносные лета она обыкновенно достигает двадцати футов в высоту. Айрин узнала также, что меховая парка** ей не по карману, а в оленьих унтах у нее будут потеть ноги. Эскимосы и индейцы напоминали ей выходцев из Азии, которые встречались в Сан-Франциско. В голове у нее засели слова: «Пятнадцать лет назад», и она вспомнила, как на юге страны снимали с дверей такие же надписи. Однако эти надписи уже сделали свое дело. Потому что, сколько бы она ни прожила, она все равно будет сторониться фешенебельных ресторанов

* Популярная американская писательница, автор многочисленных романов и новелл, драматург. Ее роман «Такой большой» («So big», 1924) был удостоен Пулитцеровской премии.

** Меховая куртка (или пальто) с капюшоном.

и гостиниц, и даже библиотек, ведь прежде ей был туда вход запрещен.

— Приятно на тебя смотреть. По правде говоря, ты выглядишь просто чудесно.— И Анастасия погладила Айрин по лицу. Затем встала и, перегнувшись, крепко поцеловала теплую, пахнущую жасмином коричневую щеку.

— Я тебе всегда раньше завидовала,— сказала она.

— Скорее мне полагалось тебе завидовать,— улыбнулась Айрин.

— Так горько было расти не похожей на всех своих друзей и, наоборот, напоминать ненавистных им людей. И друзья так странно и непонятно себя вели, постоянно, по малейшему поводу завидовали мне, потому что кожа у меня светлая и волосы не доставляют хлопот. Но те, другие, у которых и кожа, и волосы были как у меня, те меня презирали и не упускали случая намекнуть об этом. И еще, я ведь довольно некрасива, у меня лицо даже смешное. Но меня с младенчества убеждали, что я красавица. Мне никогда не позволяли видеть себя такой, какая я есть на самом деле.

— Почему же мне казалось, будто ты довольна своей судьбой, во всяком случае не жалуешься? — спросила Айрин.

— Конечно, мне нравилось, и долго нравилось, быть принцессой,— сказала Анастасия.— Я этого не отрицаю. Но всегда у меня было чувство *такой* вины. Почему именно меня выбирали на роль Белоснежки, Золушки и других белых леди, попавших в затруднительные обстоятельства, когда все мои школьные подружки играли лучше, чем я? Почему в старших классах мальчики ходили за мной *табуном*, хотя я не умела танцевать, боялась шуток и мать не скрывала, что более темные оттенки кожи для нас нежелательны? Ох, я так наконец устала от черных, что решила поступать в Нью-Йоркский колледж. Мне черные стали казаться такими легкомысленными, эгоистичными и до того напичканными проблемой цвета, что было просто стыдно за них. А потом, в шестидесятые, они стали требовать свободы, но, конечно, не для таких, как я.

— Но ты уже была свободной,— возразила Айрин,— у тебя была свобода выбрать любой путь.

— Свобода быть отвергнутой на любом пути, ты хочешь сказать,— ответила Анастасия.— Даже ты меня отвергала.

Айрин, как большинство людей, считала себя лучше, чем она есть на самом деле, и поэтому выслушала упрек с видом весьма заносчивым.

— Ты помнишь «Признания Ната Тернера» Стайрона? — спросила Анастасия.

— Смутно,— ответила Айрин, которая целых десять лет трудилась над тем, чтобы изгнать эту книгу из памяти.

— Ну, а я помню, и очень хорошо. Помнишь, наш преподаватель литературы имел наглость прочитать нам спецкурс по этой книге, и сознание бессилия доказать ему, что стайроновское чудовище — просто оскорбление памяти настоящего Ната Тернера, приводило меня в ярость и ни с кем не хотелось говорить, и так было по нескольку дней. Это было как раз тогда, когда ты начала много пить, ты, такой сияющий образец трезвой, образованной части негритянского народа.— Анастасия рассмеялась.— И ты не просто напивалась, ты гадко напивалась. Блевала, дралась, ругалась. А они не могли тебя исключить, потому что ты была одной-единственной, действительно *темнокожей* студенткой-негритянкой во всем колледже. И они тебя просто *обожали*. Но ты сказала, что это все дерьмо, не могут они обожать тебя и одновременно проповедовать свою версию истории твоего народа. И я тебя прекрасно понимала.

— Лицемеры они были, вся их шайка,— сказала Айрин.

— Но и ты — тоже. Тебе ведь очень нравилось их обожание. Тебе нравилось, что ты — исключение, что ты — представительница расы. Я-то знала, что они лицемеры, по их насмешливому отношению ко мне. То есть они знали, что я тоже черная, только выгляжу белой. Мне никогда не уделялось столько внимания, как тебе, а то бы я сумела его использовать, потому что белые были мне такие же чужие, как и тебе. Но ты думала, что все обстоит прекрасно, пока их лицемерие и тебя не достало.

«О, если б мы могли расставаться с собою прежними», — подумала Айрин, чувствуя к себе нарастающее отвращение. То, что говорила Анастасия, была правда истинная, но еще больнее было сознавать, что и она относилась к Анастасии «насмешливо», как преподаватели. Ведь она никогда не считала Анастасию ровней и разными утонченными способами давала ей понять, что она не своя и не заслуживает доверия.

— Мы тогда пошли прогуляться, чтобы у тебя хмель поветрился из головы, — продолжала Анастасия, — я понимала, что у тебя на душе, потому что — о чудо! — и я чувствовала так же и то же. Потом я тебя проводила до твоей комнаты — кстати, ты понимаешь, что у тебя одной-единственной во всем колледже была отдельная комната? И помнишь, что ты мне сказала?

«Но я не хотела отдельной комнаты» — вот что могла ответить Айрин, хотя это не было ответом на вопрос. Айрин думала, вспоминала. И ничего не могла вспомнить. Ей предоставили отдельную комнату потому, что она была «не как все», — вот что она вспомнила.

— И когда мы подошли к твоей двери, я сказала: «Видит бог, я знаю, что ты сейчас чувствуешь». А ты повернулась на пороге, не давая мне войти, и, закрывая дверь у меня перед носом, отчеканила, словно несколько дней обдумывала ответ:

— А разве ты *можешь* чувствовать?

Айрин казалось, что за воротник ей насыпали горящие угли.

— Подожди, подожди минутку, — сказала она с внезапным облегчением, хватаясь за соломинку, — ведь тогда роман Стайрона еще не был опубликован. Он вышел два-три года спустя.

— А что из этого? — ответила Анастасия. — Значит, это была такая же книжка, но под другим названием. Расистские бестселлеры хоть раз в год да выходят.

— Но я же была пьяна, — простонала Айрин.

— Не настолько уж, — ответила Анастасия.

— Да, не настолько уж.

Анастасия была довольна, что наконец смогла высказать Айрин все, что накопилось на душе. Всю жизнь она должна была принимать, принимать, принимать от других негров только то, что им хотелось ей дать,— комплименты или брань,— и принимать с неизменным всепрощающим, всепонимающим молчанием. Ведь ей не грозили их повседневные муки, ей не надо было утверждать себя вопреки всему и вся. Теперь все это было позади, и она почувствовала умиротворение. И еще одно: после разговора с Айрин что-то сдвинулось в их отношениях. Они по-прежнему были связаны, но не только расовыми узами, которые сами по себе тонки и непрочны. Теперь они были просто две женщины, которые живут так, как считают нужным. Анастасии было интересно, чувствует ли Айрин то же, что она.

— Ты мое *определяющее* дополнение,— сказала Айрин. Каждое слово она выдавливала из себя с трудом, будто опасаясь обнаружить внутреннее волнение от разговора на такую тему.— Понимаешь, в колледже я все боялась, что мне уготована стандартная буржуазная судьба, успех. Я была умна, энергична, привлекательна и помыслить не могла о неудаче, что бы там ни твердили социологи. И яростно ненавидела студентов, которым предстояло через десяток лет заказывать обувь и чемоданы в модных мастерских, раз в год совершать путешествие в Европу и читать по два бестселлера каждые пять лет, а в остальное время учить наших детей всякой чепуховине. Такое существование и весьма реальная возможность быть отчисленной «по причине беременности» представлялись мне судьбой хуже смерти.

— Твоя дилемма понятна. Ты объективно не знала, кто ты есть, как ты поступишь в следующий момент, какое твое «я» возобладает в тебе. Когда я бранила тебя за недостаток преданности делу, себя я считала приносящей пользу. Ты была как бы воплощением моего собственного разорванного сознания. Самым непостижимым образом твое смятение умаляло мое собственное. Я, например, понимала, что для тебя эпизод с Источником — кратчайший путь к некоему

гармоническому межрасовому сосуществованию, в котором ты надеешься обрести счастье. Я тоже считала возможным существование в Америке такого образа жизни. Но с политической точки зрения этот идеал очень расплывчат. И все же мне было успокоительно думать, что твоя программа счастья с помощью «дозы» и «гуру» гораздо нереальнее моей. Я надеялась на помощь правительства, а ты возлагала надежды на Источника. В обоих случаях это был ложный путь, потому что любой путь, который ведет прочь от нас самих, ложен.

— Ну, ну! — сказала Анастасия, покачав головой, хотя ее «ну, ну» звучало утвердительно. — Меня тянуло к тебе потому, что твоя позиция казалась такой прочной. Что бы ни случилось, ты негритянка, черная. А черные женщины, даже добившись буржуазного успеха, не дезертируют с позиций.

— Да они просто не в состоянии. Хотя некоторые, конечно, дезертировали бы, если б могли.

Анастасия рассмеялась вместе с Айрин. Теперь она была совсем довольна. Кто бы я ни была *сама*, подумала Анастасия, мой ребенок — а она надеялась его родить — будет коренным американцем, и от него снова пойдет начало всех начал.

— Знаешь, — сказала она задумчиво, поднявшись и собирая со стола свои вещи, потому что, хотя за окном было непривычно светло, уже миновала полночь, — Источник заставлял нас использовать его имя мантре во время медитаций, чтобы не оставалось даже уголка сознания, где бы он не присутствовал. Но понимаешь, как оно получается с заклинаниями, — сначала оно действительно звучит как чье-то имя и ты все время думаешь об этом человеке. Но скоро имя становится просто звуком. А во мне этот звук пробуждал стремление к чему-то другому, он направлял мою жизнь куда-то в сторону. — Она пожала плечами. — Я поняла, что должна слить свое существование с чем-то элементарно простым и постоянным, иначе оно и вовсе станет эфемерным и отлетит навсегда. — Анастасия, улыбаясь, подумала о человеке, которого любила.

— Ты счастлива, что возвращаешься к нему домой, а? — спросила Айрин.

— Я просто вне себя от счастья,— ответила сияющая Анастасия.

— Пиши,— сказала Айрин.— Я скучала по тебе.

— Неужели скучала?!

И Айрин обняла Анастасию. Это было не обычное, легкое объятие — за плечи. Она привлекла Анастасию к себе так, что колено чувствовало колено, бедро касалось бедра, грудь прижималась к груди, шея льнула к шее. И они стояли и слушали, как согласно и сильно бьются их сердца, полные горячей крови.

Выйдя из бара, они поравнялись с группой туристов, которые возбужденно тыкали пальцами в пространство. Айрин и Анастасия взглянули в том же направлении, и улыбка осветила их лица. Они думали, что наконец-то видят большую, как мираж изменчивую в очертаниях, гору, что возвышалась за сотню километров от них. Они ее не видели. Это было подножие другой горы, расположенной ближе, грандиозное подножие, массивные щиколотки, окутанные облаками, и казалось, что гора вкушает величайшее блаженство.

Местъ Ханна Кемхаф*

Недели через две после того, как я поступила в учење к тетушке Рози, к нам пожаловала одна старая женщина, укутанная в полдюжины шалей и юбок. Она чуть не задыхалась под всеми этими одежками. Тетушка Рози (ее имя произносили на французский лад — Розі) тут же заявила, что знает имя гостя, видит его словно начертанным в воздухе: Ханна Кемхаф, член общины Восточной Звезды.

Гостью аж оторопь взяла. (Да и меня тоже! Это потом я узнала, что у тетушки Рози заведена подробная картотека почти на всех жителей нашего округа, и хранит она ее в длиннющих картонных коробках под кроватью.) Миссис Кемхаф засуетилась и спросила, не знает ли тетушка Рози еще чего-нибудь про нее.

На столе перед тетушкой Рози стояла здоровенная посудина, вроде аквариума для рыб, только никаких рыб там не было. И вообще ничего не было — одна вода. Так по крайней мере мне казалось. Но не тетушке Рози. Не зря ж она так пристально высматривала что-то на самом дне, пока гостя терпеливо ждала ответа. Наконец тетушка Рози пояснила, что беседует с водой и вода поведала ей, что наша гостя только выглядит старой, на самом же деле она вовсе и не старуха. Миссис Кемхаф поддакнула — так, мол, оно и есть, и поинтересовалась, не знает ли тетушка Рози, отчего она выглядит старше своих лет. Этого тетушка Рози не знала и попросила самое гостью рассказать нам об этом. (Замечу кстати, что миссис Кемхаф с самого начала была вроде как не в своей тарелке — видно, стеснялась моего присутствия. Но после того, как тетушка Рози пояснила, что я учусь у нее гадальному ремеслу, гостя понимающе кивнула, успокоилась и перестала обращать на меня внимание. Я же постаралась стусеваться как могла, сжалась в комочек

* Из книги «The Best Short Stories», 1974, Boston, Houghton & Mifflin Co.

с краешку стола, всем своим видом давая понять, что уж кого-кого, а меня нечего стесняться или бояться.)

— Это случилось во времена Великой депрессии...— начала миссис Кемхаф, беспокойно ерзая на стуле и опираясь многочисленными шали, от которых ее спина казалась горбатой.

— Да, да,— подхватила тетушка Рози,— вы тогда еще были совсем молоденькой и хорошенькой, просто загляденье.

— Откуда вы знаете? — поразила миссис Кемхаф.— Так-то оно так, да только к тому времени я уже пять лет как была замужем, и было у меня четверо маленьких ребятишек, а муж, что называется, не дурак погулять. Замуж-то я выскочила ранехонько...

— Вы сами были как дитя,— вставила тетушка Рози.

— Ну да. Мне об ту пору только двадцатый годок пошел,— согласилась миссис Кемхаф.— Ох и тяжкое было время — и у нас, и по всей стране, и, должно стать, во всем мире. Само собою, никаких телевизоров тогда и в помине не было, откуда нам было знать-то, так это или нет. По сю пору не знаю, додумались до них уже тогда или нет еще. А вот радио у нас имелось еще до депрессии: мой благоверный выиграл в покер. Потом, правда, пришлось его продать, чтобы было на что еды прикупить.

Короче, мы кой-как перебивались, пока я кухарила для рабочих на лесопилке. Поди-ка настряпай капусты на двадцать мужиков да напеки на всех кукурузных лепешек, а платили мне за то два доллара в неделю. Но вскорости лесопилку прикрыли, что же до моего благоверного, так он к тому времени уже давно сидел без работы. Как мы не померли с голоду — ума не приложу. Нам самим все время так хотелось есть, а ребятишки до того ослабели, что я общипывала капустные листья со стеблей, не дожидаясь, пока завяжутся вилки. Все шло в ход — и листья, и кочерыжки, и корни. А когда мы и это подъели, у нас ровным счетом ничегошеньки не осталось.

Как я уже сказала, нам неоткуда было знать, по всему миру так же худо или только у нас,— телевизоров-то не бы-

ло. Радио свое мы продали. Но всех, кого мы знали в нашем округе Чероки, крепенько прихватило. Не иначе как поэтому правительство ввело продуктовые талончики — их выдавали всякому, кто мог доказать, что он голодает. Получив такие талончики, вы отправлялись в город, в особое место, где выдавали сколько положено, не больше, топленого сала, и кукурузной муки, и красных бобов — да, да, кажется, это были красные бобы. А наши дела к тому времени, как я уже сказала, стали хуже некуда. Вот тут-то мой благоверный и настоял, чтобы мы пошли туда. До чего у меня душа не лежала — слов нет сказать, а все потому, что я завсегда была чересчур гордая. У моего папаша — может, слышали? — была самая большая во всем округе Чероки плантация цветного горошка, и мы отродясь ни у кого ничего не просили... Так-то. А тем временем моя сестрица Кэрри Мэй...

— Отчаянная была девчонка, если память мне не изменяет,— вставила тетушка Роза.

— Не девчонка — суший порох! — отозвалась миссис Кемхаф.— Так вот, она об ту пору обосновалась на Севере. В Чикаго. Работала там у белых. Хорошие, видать, были люди; отдавали ей свою старую одёжу, и она посылала ее нам. Вещи хоть куда, право слово. То-то мне радости было! А так как об ту пору наступили холода, то я оделась сама в те самые одежки, и мужа придела, и ребятишек. Теплущие были вещи — как-никак для Севера, где полно снега, вот они и грели как печка.

— Это та самая Кэрри Мэй, которую потом прикончил какой-то гангстер? — уточнила тетушка Роза.

— Она самая,— нетерпеливо подтвердила гостья, ей, видно, не хотелось отвлекаться от своей истории.— Собственный муж и порешил.

— Ах ты господи! — тихо воскликнула тетушка Роза.

— Так вот, нарядила я своих в одежки, что сестра прислала, и хоть в животах у нас урчало с голодухи, мы, расфуфыренные в пух и прах, прямиком отправились просить у правительства то, что нам причиталось. Даже у моего мужа, чуть, бывало, приоденется, сразу гордости прибавля-

лось. А я тем паче — как припомню, до чего богато мы жили в доме отца, так нос задираю выше всех.

— Вижу зловещую, бледную тень, что нависла над вами в том путешествии,— произнесла тетушка Роза, так пристально вглядываясь в воду, словно невзначай обронила туда монету и сейчас пытается разглядеть ее на дне.

— И впрямь бледная, зловещая тень нависла над нами,— подхватила миссис Кемхаф.— Прибыли мы на место, видим, там уже длинная очередь, в той очереди все наши приятели. По одну сторону здоровенной кучи продуктов стоят белые, среди них и такие, у кого водятся денюжки, а по другую — черные. Между прочим, потом я слышала, будто белым выдавали и бекон, и овсянку, и муку вдобавок, ну да что сейчас об том толковать. А дальше вот как дело обернулось. Только приятели завидели нас в наших красивых теплых обновках — на самом-то деле никакие это были не обновки, а самые что ни на есть обноски,— все в один голос закричали: мол, мы с ума сошли, так вырядились. Только тут я смекнула, что неспроста все в очереди для черных оделись в рваньё. Даже те, у кого дома была приличная одежда,— уж я-то знала это доподлинно. С чего бы это? — спрашиваю я мужа. А он тоже не знает. Ему, петуху этому, вообще в тот миг ни до чего дела не было — только б покрасоваться. Тут на меня жуткий страх накатил. Один из малышей заревел, за ним захныкали и остальные: передалась им, видно, моя тревога. Насилу их угомонила.

Муженек мой тем временем начал строить куры другим женщинам, а я, надо сказать, пуще смерти боялась потерять его. Вечно он меня язвил, называл гордячкой. Я обычно отвечала, что именно так и надо и что ему самому следует таким быть. Больше всего я боялась осрамиться перед другими людьми — знала, что в таком разе он непременно меня бросит.

Так стояла я в очереди, авось, думаю, белые, которые распоряжаются выдачей продуктов, не обратят внимания на мою красивую одежду, а коли обратят, то увидят, до чего голодны мои ребятишки и до чего мы все жалкие. И вдруг

гляжу: мой муж завел разговоры с одной бабешкой, с которой, видать, давно уже снюхался. Поглядели б вы, как она была одета! Нацепила на себя всякую рвань и замаралась с головы до пят. Да еще и выставила напоказ свое грязное исподнее. Глядеть тошно. Каково ж было видеть, как мой муженек вьется вокруг нее вьюном, пока я стою в очереди, чтобы разжиться едой для четверых наших малюток. Небось, он не хуже моего знал, какие наряды остались дома у этой твари. Она всегда одевалась лучше меня и даже лучше многих белых женщин. Поговаривали, будто она водила к себе мужчин за деньги. Видать, те, кому приспичит, готовы платить даже во время депрессии...

В этом месте миссис Кемхаф сделала паузу и глубоко вздохнула. Затем продолжала:

— Наконец подошел мой черед, и я оказалась перед стойкой, за которой стояла молоденькая дамочка. Бобами там пахло — спасу нет, а уж при одном виде свежих кукурузных лепешек слюнки у меня так и потекли. Я хоть и гордячкой была, но ведь не привередой. Мне тогда хотелось получить хоть чего-нибудь для себя и своих ребятишек. Вот я и стояла перед ней, а голодные малыши уцепились за мой подол, только я старалась держаться как можно лучше и старшенькому велела не горбиться — не милостыню же я пришла просить, а то, что причитается мне по праву. Я не какая-нибудь там побирушка. Так вот, знайте, что сотворила эта куколка с огромными голубыми глазами и желтыми волосенками, эта деточка: она взяла мои талоны, смерила взглядом меня, и моих детей, и моего мужа — с чего это, мол, вы все так вырядились? — брезгливо осмотрела талоны, словно они были заляпаны грязью, и... отдала их старику, завязтому картежнику, который стоял за мной. «Судя по вашему виду, Ханна Лу, вы не нуждаетесь в продуктах, которые здесь выдают», — сказала она. «Но мои дети голодны, мисс Сэдлер», — возразила я. «По их виду этого не скажешь», — отрезала она. — Проходите. Здесь есть люди, которые действительно нуждаются в нашей помощи». В очереди за мной захихикали, заготовали, а эта маленькая белая

куколка тоже вроде как усмехнулась, прикрыв рот ладошкой. Старому картежнику она отвалила вдвое против того, что ему полагалось, а мне с детишками — ничего, хоть подыхай с голодухи.

Как только до моего супруга и его крали дошло, что случилось, они так и покатились со смеху; он быстренько подхватил ее пакеты со жратвой, целую кучу пакетов, помог ей запихать все это в чей-то автомобиль, и они на пару, прямо в том же драндулете, и укатили. С тех пор я его не видела. И ее тоже.

— Их обоих смыло с моста при наводнении в Тьюникасити, не так ли? — спросила тетушка Рози.

— Так оно и было... — кивнула миссис Кемхаф. — Кто-нибудь вроде вас мог бы тогда помочь мне покончить с ним, но нужда в том отпала сама собою.

— А потом?..

— Потом я вконец пала духом. Кто-то подвез меня с ребятишками до дому, и когда я вышла, меня мотало из стороны в сторону, как пьяную; дома я уложила детей в постель. Они у меня были славные, послушные и не доставляли много хлопот, хоть и плохо соображали от голода.

Глубокая печаль отразилась на лице нашей гостьи, которая до тех пор казалась сдержанной и бесстрастной.

— Сперва заболел и помер один, за ним другой... Дня через три или четыре после той истории ко мне заявился старик картежник и поделился остатками еды, которую он получил. Он чуть было не спустил все это в карты. Но господь внушил ему сострадание к нам, а так как он знал нас и знал, что муж меня бросил, то сказал, что рад нам помочь. Но было поздно — дети совсем ослабели. Один только господь и мог их спасти, но ему было не до нас, мало ли у него дел. К примеру, надо было уладить свадьбу той подлой маленькой куколки, назначенную на ближайшую весну.

Миссис Кемхаф говорила стиснув зубы.

— Моя душа так и не оправилась от унижения, как и сердце не оправилось от мужней измены, как тело не оправилось от голода. В ту зиму я начала слабеть и год от году

чахла и хирела. В один из тех годов я совсем потеряла гордость и, навроде той шлюхи, что увела моего мужа, начала подрабатывать в публичном доме. Затем пристрастилась к выпивке — очень уж хотелось забыться, а потом и вовсе сломалась, разом постарела и стала такой, как вы меня сейчас видите. Лет пять тому назад меня потянуло в церковь. Меня заново причастили — я боялась, что причастие потеряло силу. Но покоя я так и не обрела. По ночам мне снятся кошмары про ту куколку, и всякий раз мерещится, будто она опять, под общий хохот, топчет мою душу и усмехается, прикрывшись ладошкой.

— Есть способы исцелить душу,— молвила тетушка Розы,— точно так же, как есть способы сломать ее. Но даже мне не под силу сделать и то и другое одновременно. Если мне удастся снять с вас бремя позора, то придется переложить его на кого-то другого.

— Не об исцеленье я забочусь,— ответила миссис Кемхаф.— С меня довольно того, что все эти годы я несла свой позор и что господь, ничего не ведающий о наших горестях, прибрал к себе и моих детей, и мужа. Срок, что мне отпущен, я проживу до конца, стерпевшись с горечью, что день за днем копится в моем сердце. Но я бы померла спокойно, если бы знала, что по прошествии стольких лет эта куколка получила по заслугам. Неужто такова воля господня — чтобы все эти годы она была счастлива, а я несчастна? Разве это справедливо? Это просто чудовищно.

— Не тревожьтесь об этом, сестра,— произнесла тетушка Розы мягко.— По милости богочеловека я могу управлять сверхъестественными силами. Эту власть даровала мне сама Великая Владычица. Если вам больше не вмоготу выносить взгляд злодейки, что преследует вас во сне, богочеловек, говорящий со мной от лица великой Матери нашей, поразит ее слепотой. Если злодейка посмела поднять руку на вас, ее рука отсохнет.— В ладони тетушки Розы оказался маленький кусочек олова, некогда блестящего, а сейчас словно изъеденного оспой, почернелого и тусклого.— Видите этот металл? — спросила она.

— Вижу,— ответила миссис Кемхаф, охваченная любопытством. Она взяла олово в руки и потерла его.

— Точно таким же образом у этой куколки почернеет та часть тела, которую вы хотели бы уничтожить.

— Вы моя истинная сестра,— сказала миссис Кемхаф.

— Этого достаточно? — спросила тетушка Рози.

— Я б отдала все, что имею, только б она перестала ухмыляться, прикрываясь ладошкой,— молвила гостья, доставая потрепанный бумажничек.

— Что именно досаждаст вам более всего — ладонь или смеющийся рот?

— И то и другое.

— За рот или за руку, на выбор,— десять долларов. А за то и другое вместе — двадцать долларов.

— Пусть тогда будет рот,— сказала миссис Кемхаф.— Его я вижу отчетливей всего в своих снах.— И она положила бумажку в десять долларов на колени тетушке Рози.

— Вот как мы поступим,— начала тетушка Рози, приближаясь почти вплотную к миссис Кемхаф и обволакивая ее вкрадчивым, как у докторов, голосом.— Сперва приготовим особое снадобье, которым издавна пользуются в нашем деле. В его состав входят несколько волосков известной вам особы, обрезки ее ногтей, немного мочи и кала, что-нибудь из одежды, пропитавшейся ее запахом, и щепоть кладбищенского праха. И тогда, ручаюсь, эта куколка не переживет вас дольше чем на шесть месяцев.

Казалось, обе женщины напрочь забыли обо мне, но тут тетушка Рози повернулась и сказала:

— Тебе придется пойти с миссис Кемхаф к ней домой и научить ее читать заклятие. Покажешь ей также, как ставить черные свечи и как призывать себе на помощь Смерть.

Тетушка Рози подошла к шкафу, где хранились ее многочисленные припасы: заговорные масла, экстракты, приносящие удачу или неудачу, сушеные травы, притирания, порошки и свечи. Она достала две большие черные свечи и вручила их миссис Кемхаф. Еще она дала ей небольшой

кулечек с порошком, его следовало сжигать на столе, как на алтаре, во время чтения заклятий. Я должна была научить ее правильно ставить свечи, предварительно омыв их в уксусе, дабы они очистились надлежащим образом.

Тетушка Рози наставляла нашу гостью: девять раз по утрам и вечерам ей следует запалить свечи, жечь порошок и читать заклятия, стоя на коленях, сосредоточив все свои силы, чтобы ее призыв дошел до Смерти и богочеловека. А пред великой Матерью нашей поможет лишь заступничество богочеловека. Тетушка Рози обещала в свой черед повторять заклятие. По ее словам, обе их мольбы, читаемые одновременно и с благоговением, не смогут не тронуть богочеловека. И он скинет цепи со Смерти, чтобы она могла поразить маленькую куколку. Но произойдет сие не сразу — богочеловек должен сперва выслушать все молитвы-заклятия.

— Мы возьмем все необходимое: волосы, ногти, одежду и прочее,— продолжала тетушка Рози,— и добьемся, чтобы ваше заветное желание исполнилось. Года не пройдет, как мир будет избавлен от злодейки, а вы тотчас избавитесь от ее ухмылки. Не угодно ли вам еще чего-нибудь, что сделало бы вас счастливой прямо сегодня? — спросила тетушка Рози.— Всего за два доллара.

Миссис Кемхаф покачала головой:

— С меня довольно того, что ее конец наступит еще до истечения года. Что до счастья, то оно все равно не дается в руки, ежели знаешь, что оно покупается или продается за деньги. Пускай я не доживу до того дня, когда смогу увидеть плоды вашей работы, тетушка Рози, но коль скоро я обрету утраченную гордость и поквитаюсь за причиненное мне зло, то сойду в могилу и отправлюсь в вечность с гордо поднятой головой, и могила не покажется мне ни узкой, ни тесной.

Сказав все это, миссис Кемхаф распрощалась и, преисполненная чувства собственного достоинства, покинула комнату. Казалось, будто в эту минуту к ней вернулась ее молодость; многочисленные шали спадали с ее плеч с величавостью тоги, а седые волосы, казалось, искрились.

К тебе взываю я, богочеловек. О, всемогущий, тягостным испытаниям подвергли меня недруги, осквернили имя мое, оболгали меня. Мои благие побуждения и благородные поступки обращены были в свою противоположность. Позор пал на мой дом, а на детей моих — проклятье и жестокие муки. Тех, кто был дорог мне, они оклеветали, подвергли сомнению их добродетель. О, богочеловек, ниспошли на врагов моих кары, о коих молю я тебя:

Пусть южный ветер опалит и иссушит их тела, не ведая к ним сострадания. Пусть северный ветер выстудит в жилах их кровь и лишит их тела силы, не ведая к ним снисхождения. Пусть западный ветер относит прочь дыхание их жизни, и пусть от его дуновений у них выпадут волосы и ногти, искрошатся кости. Пусть восточный ветер помрачит их рассудок, ослепит их глаза, лишит силы их семя, дабы не могли они больше плодиться.

Заклинаю отцов и матерей из всех грядущих поколений не вступаться за них пред великим престолом. Пусть чрева их жен несут плод лишь от незнакомцев, и пусть вымрет их род. Пусть их младенцы рождаются на свет недоумками с недвижными членами, и пусть проклинают они тех, кто вдохнул жизнь в их тела. Пусть недуги и смерть неотступно преследуют их, пусть не ведают они процветанья в делах, пусть гибнут в полях их посева, а коровы, и овцы, и свиньи, и весь прочий скот подыхает от бескормицы и жажды. Пусть ураган срывает кровли с их домов, пусть громы, молнии и ливни врываються в их сокровенные покои, и пусть обрушатся основания их домов, а потоки воды не оставят от них и следа. Пусть солнце не дарует им тепло животворных лучей, а лишь иссушает и опалает зноем. Пусть луна не дарует им покоя, а лишь глумится над ними и отнимает последние крохи рассудка. Пусть предательство друзей лишит их силы и власти, золота и серебра, пусть сокрушают их враги, пока не запросят они пощады, в коей им будет отказано. Заклинаю: да позабудут уста их сладость речи человеческой, пусть языки их окостенеют, и пусть воцарится вокруг них запустение, свирепствуют мор и смерть. О, бого-

человек, молю тебя сделать так, ибо они смешали меня с грязью, лишили доброго имени, разбили сердце мое и заставили проклинать день своего рождения. Да будет так!

Этой молитвой-заклятием постоянно пользовались знахари и обучали ей, но поскольку я не знала ее на память, как тетушка Розы, то шпарила прямо по книге Зоры Нил Хёрстон «Мулы и люди». Мы вместе с миссис Кемхаф повторяли молитву, стоя на коленях. Вскоре мы так понаторели в омывании свечей в уксусе, зажигании их, коленопреклоненных молитвах, которые читали нараспев, что можно было подумать, будто много лет мы только этим и занимались. Меня потрясло рвение, с которым миссис Кемхаф молилась,— она подносила стиснутые кулаки к закрытым глазам и впивалась зубами в запястья, как это делали гречанки.

Согласно метрическим данным, Сара Мэри Сэдлер, та самая дамочка-куколка, родилась в тысяча девятьсот десятом году. Когда разразилась Великая депрессия, ей только-только перевалило за двадцать. В тридцать втором она вышла замуж за некоего Бена Джонатана Холли, который владел плантацией, а также большим складом пиломатериалов и вскоре получил в наследство несколько бакалейных лавчонок. Весной шестьдесят третьего года ей исполнилось пятьдесят три. Было у нее трое детей — один сын и две дочери; сын без особых успехов занимался торговлей готовым платьем, а дочери сами стали матерями и довольно быстро забыли родной дом.

Супруги Холли жили в шести милях от города в просторном собственном доме; миссис Холли увлекалась домашней выпечкой и собиранием древностей, а также коротала время с цветными женщинами. Все это мне удалось вытянуть из полупьяной кухарки дома Холли, вредной, скрюченной подагрой старушонки, которая в молодые годы выкормила своим молоком одного из отпрысков этого семейства — смуглокожего малого, ставшего впоследствии проповедником и обосновавшегося по воле родных в Морхаузе.

— Мне кажется, я могла бы узнать от кормилицы все, что нам надо, и достать через нее обрезки ногтей,— сказала я тетушке Розе. Я надеялась напоить эту вздорную старушеницу до нужного состояния, ибо она питала особое пристрастие к мускателю и не скрывала своей неприязни к хозяйке. Однако довести ее до кондиции оказалось непросто; мне никак не удавалось вызвать ее на откровенный разговор, а от денег уже почти ничего не осталось.

— Так дело не пойдет,— сказала однажды под вечер тетушка Розе; сидя в машине, она наблюдала, как я выводила кухарку из бара «Шесть вилок».— Мы уже ухлопали шесть долларов на мускатель, а толку никакого. С пустомелями и выпивохами каши не сварить,— продолжала тетушка Розе.— Попробуй лучше добиться, чтобы миссис Холли сама выложила все необходимое.

— Это просто безумие! — воскликнула я.— Разве можно ее посвящать в то, что против нее же затевается наговор? Да она взбесится или перетрусит до смерти.

Тетушка Розе в ответ только фыркнула.

— Правило номер один — вести наблюдение за субъектом. Запиши это на своих мятых бумажках.

— Другими словами?

— Будь прямой, но не при напролом.

По дороге к плантации Холли мне в голову пришла идея сделать вид, будто я разыскиваю какого-то человека. Потом я додумалась до более хитрого, как мне показалось, хода. Я припарковала «бонневиль» тетушки Розе с краю просторного, засаженного камелиями и мимозой двора. По настоянию тетушки Розе я в тот день нарядилась в длинное, до пят, блестящее оранжевое платье, при каждом шаге оно отчаянно шуршало и пузырями вздувалось вокруг ног. Миссис Холли, в обществе молоденькой смазливой негритяночки, расположилась на ступенях задней веранды. При виде моего сногшибательно длинного и яркого наряда они просто-напросто обалдели.

— Миссис Холли, мне пора идти,— сказала девушка.

— Не дури! — одернула ее матрона.— Наверное, эта

африканка со светлой кожей просто заблудилась и ищет дорогу.— Она потихоньку подтолкнула девушку локтем, и они обе прыснули.

— Добрый день, как поживаете? — поздоровалась я.

— Прекрасно, а вы? — отозвалась миссис Холли, а негритянка удивленно уставилась на меня. Они о чем-то секретничали, тесно сблизив головы, но стоило мне заговорить, как выпрямились, точно по команде.

— Я ищу человека по имени Джосайя Хенсон.— (Я могла бы добавить, но не добавила, что это имя беглого раба, прототипа дяди Тома из романа Гарриет Бичер Стоу.)— Скажите, он не здесь живет?

— Ужасно знакомое имя,— произнесла черная девушка.

Дама была явно озадачена моим вопросом — она и слыхом не слыхивала о человеке по имени Хенсон. И тут я вдруг как выпалю:

— Скажите, вы и есть миссис Холли?

— Я самая,— улыбнулась она, собирая в складки подол своего платья. Миссис Холли оказалась седеющей блондинкой с пепельным, не тронутым загаром лицом, я обратила внимание на ее руки с толстенькими, тупыми и изнеженными пальцами.— А это моя... моя приятельница Кэролайн Уильямс.

Кэролайн небрежно кивнула.

— Я слышала, будто старина Джосайя где-то здесь...

— Но мы его не видели,— вставила миссис Холли.— Мы здесь пригрелись на солнышке, сидим себе лучшим горох.

— Вы кто — светлокочая африканка? — не удержалась Кэролайн.

— Нет, я ученица миссис Розы, гадалки.

— Зачем это вам? — удивилась миссис Холли.— Помоему, такая хорошенькая девочка, как вы, могла бы подыскать себе лучшее занятие. О тетушке Розы я наслышана сызмальства, но все говорят, что гадание — сущая че... я хочу сказать, глупо верить в такие вещи. Вот мы с Кэролайн, к примеру, совсем не верим. Правда, Кэролайн?

— П-правда.

Молодая так решительно прикрыла своей ладонью руку пожилой дамы, словно желала мне сказать: «Убирайся отсюда и не смущай слух белых людей таким вздором». И в тот же миг из кухонного окошка выглянуло темное растерянное лицо пьянчужки няни, и на нем тоже было написано: убирайся-ка отсюда подобру-поздорову.

— А разве вам не хотелось бы доказать, что вы не верите в колдовство? — не сдавалась я.

— Доказать?! — возмутилась белая женщина.

— Доказать?! — с презрением подхватила черная.

— Вот именно доказать,— повторила я.

— И не подумаю пугаться колдовства черномазых! — отчеканила миссис Холли и в то же время сообщнически опустила руку на плечо Кэролайн, тем самым давая понять, что к «черномазым» она причисляет меня, но ни в коем случае не ее.

— Так докажите же нам, что вы действительно не боитесь,— сказала я, выделяя слово «нам», одним этим приобщая Кэролайн к категории «черномазых». Ничего, пускай проглотит! Теперь миссис Холли осталась одна — эта великая белая реформаторша, этот светоч прогресса,— одна на форпосте христианской веры против натиска негритянского язычества.

— Ну, если вам угодно...— приняла она мой вызов, являя бесстрашие в лучших английских традициях. И надменно выпятила нижнюю губу. По ее лицу все время блуждала любезная улыбка. Но тут эта улыбка слиняла, и тонкие губы вытянулись в ниточку, отчего лицо стало плоским и решительным. Как у всех белых женщин в различных уголках страны, где белая раса все еще оставалась «чистой», рот миссис Холли казался тонким рубцом, незаживающей раной, нанесенной мгновенным ударом острого клинка.

— Вы знаете миссис Ханну Лу Кемхаф? — спросила я.

— Нет.

— Она не белая, миссис Холли, она негритянка.

— Ханна Лу... Ханна Лу... Разве мы знаем Ханну Лу? — обернулась она к Кэролайн.

— Нет, мэ, не знаем.

— Но она знает вас. Говорит, что встречалась с вами, когда стояла в очереди за хлебом во время депрессии, и вы отказали ей в кукурузной муке, потому что она была прилично одета. Или в красных бобах, или в чем-то там еще.

— Очередь за хлебом? Депрессия? Приличная одежда? Кукурузная мука?.. Не понимаю, о чем вы толкуете.— Ни единый луч не пронзил глубин ее памяти, она напрочь забыла, как обошлась с какой-то там негритяжкой более тридцати лет назад.

— Впрочем, это не имеет значения, раз вы все равно не верите. Но она утверждает, что вы причинили ей много зла, и, будучи доброй христианкой, верует, что господь в свое время непременно покарает всякое зло. Эта женщина обратилась к нам за помощью, лишь когда почувствовала, что кара божья запаздывает. Мы с тетушкой Розы не беремся за несправедливые дела и потому не знаем, стоит ли нам взяться за это.— Я говорила со всей смиренностью и набожностью, на какие была способна.

— Что ж, рада буду помочь вам,— процедила миссис Холли и стала загибать пальцы на руках, очевидно подсчитывая минувшие годы.

— Мы сказали Ханне Кемхаф, что именно она должна сделать, дабы обрести утраченное душевное спокойствие, которого, по ее словам, она лишилась в то самое время, когда вам меньше всего было дела до нее: на ближайшую весну было назначено ваше венчание.

— Значит, это произошло в тридцать втором году,— заключила миссис Холли.— Как вы говорите — Ханна Лу?

— Она самая.

— Скажите, она была очень чернокожая? Иногда я таким образом вспоминаю лица негров.

— Неважно,— сказала я.— Вы же все равно не верите...

— Разумеется, не верю,— подтвердила миссис Холли.

— Я не причастна к тому, что произошло между вами и Ханной Лу. Тетушка Роза тоже. И вообще, если бы не утверждения миссис Кемхаф, мы бы понятия не имели, что речь идет именно о вас. Уж кто-кто, а мы-то знаем, как нежно и искренне вы печетесь о бедных цветных ребятишках под рождество. Мы знаем, чего вам стоило нанять бедняков для работы на ферме. Нам ли не знать, что вы всегда являли собой пример христианского милосердия и святой любви к братьям и сестрам вашим. И вот сейчас собственными глазами я убедилась, что у вас есть близкие друзья среди негров.

— Чего же конкретно вы хотите? — оборвала меня миссис Холли.

— Не мы, а миссис Кемхаф,— подчеркнула я,— хочет получить от вас несколько обрезков ногтей, не много — самую малость, несколько выпавших волосков — из гребенки, к примеру, и немного того, что обычно сдают на анализ,— я могу подождать, пока вы соберете все это, дайте также какую-нибудь одежду, необязательно новую, можно и прошлогоднюю. Лишь бы она была пропитана вашим запахом.

— Что-о?! — взвизгнула миссис Холли.

— Говорят, будто, прочитав соответствующие заклинания над этими предметами, можно добиться того, чтобы какая-нибудь часть вашей плоти омертвела, подобно тому как портится от времени оловянная посуда.

Миссис Холли побледнела. Кэролайн всплеснула руками и с материнской заботой усадила ее на стул.

— Принеси мое лекарство,— попросила миссис Холли, и Кэролайн сорвалась с места со стремительностью гонимой гонимой.

— Проваливай отсюда! Проваливай!

Я едва увернулась от здоровенной пыльной тряпки, нацеленной прямо мне в голову: это ринулась на спасение своей хозяйки пьянчуга няня, на сей раз трезвая как стеклышко.

— Гоните эту бродягу и шарлатанку! — взывала она к миссис Холли, уже погрузившейся в глубокий обморок.

Вскоре после моего визита к миссис Холли Ханна Кемхаф скончалась. Мы с тетушкой Розы присутствовали на ее похоронах. Ах, как элегантно выглядела тетушка Розы в черном! Мы шли по тропинке, заросшей травой и шиповником, к большой дороге. Миссис Кемхаф нашла упокоение в густой рощице, в уединении, хоть и довольно близко от могил мужа и детей. Народу на похоронах собралось совсем немного, и оттого нельзя было не заметить старую нянюшку и мужа миссис Холли. Они пришли, чтоб убедиться, что покойница и есть та самая Ханна Лу Кемхаф, которую мистер Холли безуспешно разыскивал с помощью всей окружной полиции.

А еще несколько месяцев спустя мы прочитали в газете, что Сара Мэри Сэдлер-Холли также почил в бозе. В газете говорилось о ее красоте и жизнерадостности в молодые годы, о ее неустанной заботе о тех, кто был менее счастлив, чем она, в зрелые годы, когда она была замужем, о том, что она была столпом своей общины. Совсем коротко упоминалось о тяжелой и продолжительной болезни. Зато много говорилось об уверенности всех, знавших ее близко, в том, что дух ее обретет вечный покой на небесах в награду за муки и сердечную боль, которые ее плоть претерпела в земной юдоли.

Благодаря Кэролайн мы оказались в курсе обстоятельств кончины миссис Холли. После моего визита отношения между ними стали напряженными — миссис Холли стала необъяснимо страшиться черноты Кэролайн и не подпускала ее к себе. Через неделю после нашего разговора миссис Холли стала кушать прямо у себя в спальне наверху. Затем она и вовсе отказалась спускаться вниз. С величайшим тщанием, если не сказать с отчаянием, подбирала она все волоски с головы и гребня. Она проглатывала огрызки ногтей. Но удивительней всего, что миссис Холли, не доверяя более подземным тайнам канализации,

перестала пользоваться унитазом. С помощью старой нянюшки она собирала экскременты (которых день ото дня становилось все меньше, как нам доверительно сообщила Кэролайн) в бочонки и пластиковые мешки и запирала их в туалете на верхнем этаже. Прошло несколько недель, и в доме стало невозможно существовать из-за нестерпимой вони — даже мистер Холли, нежно любивший свою супругу, в последние недели перед ее кончиной перебрался в свободную комнату в домике няни.

Губы, которые некогда под прикрытием ладони растягивались в ухмылке, больше не улыбались. Неотступный страх, как бы ни один волосок не упал с головы незамеченным, приводил ее руки в беспокойное движение и придавал взгляду стеклянистую пустоту, ее губы съежились и усохли — только смерть разгладила их.

Содержание

- 5 *М. Тугушева. Предисловие*
- 13 *Тысяча девятьсот пятьдесят пятый. Перевод И. Архангельской*
- 30 *Как мне удалось убить одного из лучших адвокатов в штате и выйти сухой из воды? Да очень просто. Перевод Е. Коротковой*
- 36 *Любовник. Перевод А. Николаевской*
- 44 *Красные петунии. Перевод А. Медниковой*
- 45 *Слава. Перевод Е. Коротковой*
- 55 *Аборт. Перевод Л. Беспаловой*
- 68 *Познакомьтесь: Льюна — и Айда Б. Уэллс. Перевод А. Медниковой*
- 86 *Стоит ли терпеть этот садо-мазохизм? (Документ времени). Перевод М. Зинде*
- 92 *Илетия. Перевод М. Зинде*
- 95 *Неожиданная весенняя поездка домой. Перевод М. Тугушевой*
- 108 *Источник. Перевод М. Тугушевой*
- 140 *Месть Ханны Кемхаф. Перевод М. Пастер*

Уокер Э.

**У62 Красные петунии: Рассказы/ Пер. с англ.
Сост. и предисл. М. Тугушевой.— М.:
Известия, 1986.— 160 с. (Библиотека жур-
нала «Иностранная литература»)**

Книга составлена из рассказов 70-х годов и показывает, какие изменения претерпела настроенность черной Америки в это сложное для нее десятилетие. Скупое, но выразительно описана здесь целая галерея женских характеров.

У $\frac{4703000000-066}{074(02)-86}$ 78—86

**ББК 84.7 США
И (Амер)**

**ЭЛИС УОКЕР
КРАСНЫЕ ПЕТУНИИ**

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *Т. Иванова*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1015

Сдано в набор 11.09.86. Подписано в печать 21.01.86.
Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура
«Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5. Усл. кр.-отт.
13,3. Уч.-изд. л. 7,4. Тираж 50 000 экз. Зак. № 843.
Цена 85 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов
СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул.
Мира, 93.



Элис Уокер

(родилась в 1944 году) — негритянская писательница, автор романов: "Третья жизнь Грейнджа Копленда", "Полдень", "Цвет пурпурный"

(за последний ей присуждена Пулитцеровская премия);

сборников новелл: "В любви и тревоге" и "Достойную женщину сломить нельзя"

(из которого взято большинство рассказов данной книги),

а также стихотворных сборников "Однажды", "Петунии революции" и книги эссе.

Э. Уокер принимала активное участие в гражданском движении негров США 60—х годов.

Сотрудничает в прогрессивных журналах "Мэссис"

и "Фридомуэйс".

"Красные петунии" — первая книга писательницы на русском языке.